

Чернышевский, Николай Гаврилович
«Эстетика и поэзия»

ЭСТЕТИКА И ПОЭЗИЯ

— Эстетическая отношения искусства к действительности.—
«О поэзии», Аристотеля.— «Песни разных народовъ».—
Критические статьи о русской поэзии: Огаревъ, Бенедиктовъ,
Щербина, Плещеевъ.— Лессингъ, его время, его жизнь и действи-
тельность.—

(«Современникъ» 1854—1861 гг.).

ИЗДАНИЕ

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКАГО.



LOAN STACK

ВН206

С5

1893

ЭСТЕТИЧЕСКИЯ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА КЪ ДѢЙСТВИТЕЛЬНОСТИ *).

Всѣ сферы духовной дѣятельности подчинены закону восхождѣнія отъ непосредственности къ посредственности. Вследствіе этого закона идея, вполнѣ постигаемая только мышленіемъ (познаніе подъ формою посредственности), первоначально является духу подъ формою непосредственности или подъ формою возврѣнія. Потому человѣческому духу кажется, что отдѣльное существо, ограниченное предѣлами пространства и времени, совершенно соотвѣтствуетъ своему понятію, кажется, что въ немъ вполнѣ осуществилась опредѣленная идея, а въ этой опредѣленной идеѣ вполнѣ осуществилась идея вообще. Такое возврѣніе предмета есть призракъ (ist ein Schein) въ томъ отношеніи, что идея никогда не проявляется въ отдѣльномъ предметѣ въ полнѣ; но подъ этимъ призракомъ скры-

*) Настоящій трактатъ ограничивается общими выводами изъ фактовъ, подтверждая ихъ опять только общими указаніями на факты. Вотъ первый пунктъ, относительно которого должно дать объясненіе. Нынѣ вѣкъ монографій, и сочиненіе можетъ подвергнуться упреку въ несовременности. Удаленіе изъ него всѣхъ специальныхъ изслѣдований можетъ быть сочтено за пренебреженіе къ нимъ или за слѣдствіе мнѣнія, что общіе выводы могутъ обойтись безъ подтвержденія фактами. Но такое заключеніе основывалось бы только на вицѣнной формѣ труда, а не на внутреннемъ его характерѣ. Реальное направление мыслей, развиваемыхъ въ немъ, уже достаточно свидѣтельствуетъ, что онъ возникли на почвѣ реальности и что авторъ вообще придаетъ очень мало значенія для нашего времени фантастическимъ полетамъ даже и въ области искусства, не только въ дѣлѣ науки. Сущность понятій, излагаемыхъ авторомъ, ручается за то, что онъ желалъ бы, еслибы могъ, привести въ своеемъ сочиненіи многочисленные факты, изъ которыхъ выведены его мнѣнія. Но еслибы онъ рѣшился следовать своему желанію, объемъ труда далеко превзошелъ бы

вается истина, потому что въ въ опредѣленной идеѣ дѣйствительно осуществляется до нѣкоторой степени общая идея, а опредѣленная идея осуществляется до нѣкоторой степени въ отдельномъ предметѣ. Этаъ скрывающій подъ собою истину призракъ проявленія идеи вполнѣ въ отдельномъ существѣ есть прекрасное (das Schöne).

Такъ развивается понятіе прекраснаго въ господствующей эстетической системѣ. Изъ этого основнаго воззрѣнія слѣдуютъ дальнѣйшія опредѣленія: прекрасное есть идея въ формѣ ограниченнаго проявленія; прекрасное есть отдельный чувственныи предметъ, который представляется чистымъ выраженіемъ идеи, такъ что въ идеѣ не остается ничего, что не проявлялось бы чувственно въ этомъ отдельномъ предметѣ, а въ отдельномъ чувственномъ предметѣ нѣтъ ничего, что не было бы чистымъ выраженіемъ идеи. Отдельный предметъ въ этомъ отношеніи называется образомъ (das Bild). Итакъ прекрасное есть совершенное соотвѣтствіе, совершенное тожество идеи съ образомъ.

Я не буду говорить о томъ, что основныя понятія, въ зависимости отъ которыхъ выставлено такое воззрѣніе на прекрасное, теперь уже признаны не выдерживающими критики; не буду говорить и о томъ, что прекрасное въ этой системѣ понятій является только «призракомъ», простирающимъ отъ непроницательности

опредѣленныхъ ему границъ. Авторъ думаетъ однако, что общихъ указаній, имъ приводимыхъ, достаточно, чтобы напомнить читателю десятки и сотни фактъ, говорящихъ въ пользу мнѣній, излагаемыхъ въ этомъ трактатѣ, и потому надѣется, что краткость объясненій не есть бездоказательность.

Но зачѣмъ же авторъ избралъ такой общий, такой обширный вопросъ, какъ эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности, предметомъ своего изслѣдованія? Почему не избралъ онъ какого-нибудь специального вопроса, какъ это большую частью нынѣ дѣлается?

По силамъ ли автора задача, которую хотѣлъ онъ объяснить, рѣшать это, конечно, не ему самому. Но предметъ, привлекшій его вниманіе, имѣть нынѣ полное право обращать на себя вниманіе всѣхъ людей, занимающихся эстетическими вопросами, то есть всѣхъ, интересующихся искусствомъ, поэзіею, литературою.

Автору кажется, что бесполезно толковать обѣ основныхъ вопросахъ науки только тогда, когда нельзя сказать о нихъ ничего нового и основательнаго, когда не приготовлена еще возможность видѣть, что наука измѣняетъ свои прежнія воззрѣнія, и показать, въ какомъ смыслѣ, по всей вѣроятності, должны они измѣниться. Но когда выработаны материалы для новаго воззрѣнія на

взгляда, не просвѣтленного философскимъ мышленіемъ, предъ которыемъ исчезаетъ кажущаяся полнота проявленія идеи въ отдельномъ предметѣ, такъ что чѣмъ выше развито мышленіе, тѣмъ болѣе исчезаетъ предъ нимъ прекрасное, и наконецъ для вполнѣ развитаго мышленія есть только истинное, а прекраснаго нѣтъ; не буду опровергать этого фактомъ, что на самомъ дѣлѣ развитіе мышленія въ человѣкѣ нисколько не разрушаетъ въ немъ эстетического чувства: все это уже было высказано много разъ. Какъ слѣдствіе и часть метафизической системы, изложенное выше понятіе о прекрасномъ падаетъ вмѣстѣ съ нею. Но можетъ быть должна система, а частная мысль, въ нее вошедшая, можетъ, будучи взята самостоятельно, оставаться справедливою, утверждаясь на своихъ особыхъ основаніяхъ. Поэтому остается еще показать, что господствующее понятіе о прекрасномъ не выдерживаетъ критики, будучи взято и вмѣстѣ съ упавшими ныны метафизическими системами.

«Прекрасно то существо, въ которомъ вполнѣ выражается идея этого существа» въ переводѣ на простой языкъ будетъ значить: «прекрасно то, что превосходно въ своемъ родѣ; то, лучшее чего нельзя себѣ вообразить въ этомъ родѣ». Совершенно справедливо, что предметъ долженъ быть превосходенъ въ своемъ родѣ для того, чтобы называться прекраснымъ. Такъ, напр., лѣсь можетъ быть прекрасенъ, но только «хороший» лѣсь, высокій, прямой, густой, однимъ словомъ, превосходный лѣсь: коряжникъ, жалкій, низенький, рѣдкій лѣсь, не можетъ быть прекрасенъ. Роза прекрасна; но

основные вопросы нашей специальной науки, и можно и должно высказать эти основные идеи.

Уважение къ дѣйствительной жизни, недовѣрчивость къ априорическимъ хотя бы и пріятнымъ для фантазіи, гипотезамъ—вотъ характеръ направленія, господствующаго нынѣ въ наукѣ. Автору кажется, что необходимо привести къ этому знаменателю и наши эстетическія убѣжденія, если еще стѣть говорить объ эстетикѣ.

Авторъ не менѣе, нежели кто-нибудь, признаетъ необходимость специальныхъ изслѣдований; но ему кажется, что отъ времени до времени необходимо также обозрѣвать содержаніе науки съ общей точки зрѣнія; кажется, что если важно собирать и изслѣдовывать факты, то не менѣе важно и стараться проникнуть въ смыслъ ихъ. Мы всѣ признаемъ высокое значеніе исторіи искусства, особенно исторіи поэзіи; итакъ не могутъ не имѣть высокаго значенія и вопросы о томъ, чѣмъ такое искусство, чѣмъ такое поэзія.

только «хорошая», свѣжая, неоципнанная роза. Однимъ словомъ, все прекрасное превосходно въ своемъ родѣ. Но не все превосходное въ своемъ родѣ прекрасно; крѣть можетъ быть превосходнымъ экземпляромъ породы кротовъ, но никогда не покажется онъ «прекраснымъ»; точно то же надобно сказать о большей части амфибій, многихъ породахъ рыбъ, даже многихъ птицахъ: чѣмъ лучше для естествоиспытателя животное такой породы, т. е. чѣмъ полнѣе выражается въ немъ его идеи, тѣмъ оно некрасивѣе съ эстетической точки зреяня. Чѣмъ лучше въ своемъ родѣ болото, тѣмъ хуже оно въ эстетическомъ отношеніи. Не все превосходное въ своемъ родѣ прекрасно; потому что не всѣ роды предметовъ прекрасны. Определеніе прекраснаго какъ полнаго соотвѣтствія отдѣльного предмета съ его идею слишкомъ широко. Оно выскаживаетъ только, что въ тѣхъ разрядахъ предметовъ и явлений, которые могутъ достигать красоты, прекрасными кажутся лучшіе предметы и явленія; но не объясняетъ, почему самые разряды предметовъ и явлений раздѣляются на такіе, въ которыхъ является красота, и другіе, въ которыхъ мы не замѣчаемъ ничего прекраснаго.

Но съ тѣмъ вмѣстѣ оно и слишкомъ тѣсно. «Прекраснымъ кажется то, что кажется полнымъ осуществлениемъ родовой идеи» значитъ также: «надобно, чтобы въ прекрасномъ существѣ было все, что только можетъ быть хорошаго въ существахъ этого рода; надобно, чтобы нельзя было найти ничего хорошаго въ другихъ существахъ того же рода, чего не было бы въ прекрасномъ предметѣ». Этого мы въ самомъ дѣлѣ и требуемъ отъ прекрасныхъ явлений и предметовъ въ тѣхъ царствахъ природы, гдѣ нѣтъ разнообразія типовъ одного и того же рода предметовъ. Такъ, напр., у дуба можетъ быть одинъ только характеръ красоты: онъ долженъ быть высокъ и густъ; эти качества всегда находятся въ прекрасномъ дубѣ, и ничего другаго хорошаго не найдется въ другихъ дубахъ. Но уже въ животныхъ является разнообразіе типовъ одной породы, какъ скоро дѣлаются они домашними. Еще болѣе такого разнообразія типовъ красоты въ человѣкѣ, и мы даже никакъ не можемъ представить себѣ, чтобы всѣ оттенки человѣческой красоты совмѣщались въ одномъ человѣкѣ.

Выраженіе: «прекраснымъ называется полное проявленіе идеи въ отдѣльномъ предметѣ» вовсе не определеніе прекраснаго. Но въ немъ есть справедливая сторона—то, что «прекрасное» есть отдѣль-

ный живой предметъ, а не отвлеченная мысль; есть и другой спра-ведливый намекъ на свойство истинно художественныхъ произве-ній искусства; они всегда имѣютъ содержаніемъ своимъ что-нибудь интересное вообще для человѣка, а не для одного художника (на-мекъ этотъ заключается въ томъ, что идея—«нѣчто общее, дѣй-ствующее всегда и вездѣ»); отъ чего происходитъ это, увидимъ на своемъ мѣстѣ.

Совершенно другой смыслъ имѣетъ другое выраженіе, которое выставляютъ за тожественное съ первымъ: «прекрасное есть един-ство идеи и образа, полное слияніе идеи съ образомъ»; это выра-женіе говорить дѣйствительно о существенномъ признакѣ—только не идеи прекраснаго вообще, а того, что называется «мастерскимъ произведеніемъ» или художественнымъ произведеніемъ искусства: прекрасно будетъ произведеніе искусства дѣйствительно тогда только, когда художникъ передадъ въ произведеніи свое мъ все то, что хотѣлъ передать. Конечно портретъ хорошо только тогда, когда живописецъ сумѣлъ нарисовать совершенно того человѣка, кото-рого хотѣлъ нарисовать. Но «прекрасно нарисовать лицо» и «нарисовать прекрасное лицо» — двѣ совершенно различные вещи. Объ этомъ качествѣ художественного произведенія прійдется говорить при опредѣленіи сущности искусства. Здѣсь же считаю не-излишнимъ замѣтить, что въ опредѣленіи красоты какъ единства идеи и образа,—въ этомъ опредѣленіи, имѣющемъ въ виду не пре-красное живой природы, а прекрасныя произведенія искусствъ, уже скрывается зародышъ или результатъ того направленія, по кото-рому эстетика обыкновенно отдаетъ предпочтеніе прекрасному въ искусствѣ предъ прекраснымъ въ живой дѣйствительности.

Что же такое въ сущности прекрасное, если нельзя опредѣлить его какъ «единство идеи и образа» или какъ «полное проявленіе идеи въ отдельномъ предметѣ»?

Новое строится не такъ легко, какъ разрушается старое, и за-щищать не такъ легко, какъ нападать; потому очень можетъ быть, что мнѣніе о сущности прекраснаго, кажущееся мнѣ справедли-вымъ, не для всѣхъ покажется удовлетворительнымъ; но если эсте-тическія понятія, выводимыя изъ господствующихъ нынѣ воззрѣній на отношенія человѣческой мысли къ живой дѣйствительности, еще остались въ моемъ изложеніи неполны, односторонни, или шатки,

то это, я надѣюсь, недостатки не самыхъ понятій, а только моего изложенія.

Ощущеніе, производимое въ человѣкѣ прекраснымъ, — свѣтлая радость, похожая на ту, какою наполняетъ насъ присутствіе милаго для насъ существа *). Мы безкорыстно любимъ прекрасное, мы любуемся, радуемся на него, какъ радуемся на милаго намъ человѣка. Изъ этого слѣдуетъ, что въ прекрасномъ есть что-то милое, дорогое нашему сердцу Но это «что-то» должно быть нѣчто чрезвычайно многообъемлющее, нѣчто способное принимать самыя разнообразныя формы, нѣчто чрезвычайно общее; потому что прекрасными кажутся намъ предметы чрезвычайно разнообразные, существа совершенно непохожія другъ на друга.

Самое общее изъ того, что мило человѣку, и самое милое ему на свѣтѣ—жизнь; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось бы ему вести, какую любить онъ; потомъ и всякая жизнь, потому что все-таки лучшее жить, чѣмъ не жить: все живое уже по самой природѣ своей ужасается погибели, небытія и любить жизнь. И кажется, что опредѣленіе:

«прекрасное есть жизнь»;

«прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такою, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни», —

кажется, что это опредѣленіе удовлетворительно объясняетъ всѣ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго. Прослѣдимъ главныя проявленія прекраснаго въ различныхъ областяхъ дѣйствительности, чтобы проверить это.

«Хорошая жизнь», «жизнь, какъ она должна быть», у простаго народа состоить въ томъ, чтобы сытно ѣсть, жить въ хорошей избѣ, спать вдоволь; но вмѣстѣ съ этимъ у поселянина въ понятіи

*) Я говорю о томъ, что прекрасно по своей сущности, а не по тому только, что прекрасно изображено искусствомъ; о прекрасныхъ предметахъ и явленіяхъ, а не о прекрасномъ ихъ изображеніи въ произведеніяхъ искусства: художественное произведеніе, пробуждая эстетическое наслажденіе своими художественными достоинствами, можетъ пробуждать тоску, даже отвращеніе сущностью изображаемаго.

«жизнь» всегда заключается понятіе о работе: жить безъ работы нельзя; да и скучно было бы. Слѣдствіемъ жизни въ довольствѣ при большой работе, не доходящей однако до изнуренія силъ, у молодаго поселянина или сельской дѣвушкѣ будеть чрезвычайно свѣжій цвѣтъ лица и румянецъ во всю щеку—первое условіе красоты по простонароднымъ понятіямъ. Работая много, поэтому будучи крѣпка сложеніемъ, сельская дѣвушка при сытной пищѣ будеть довольно плотна — это также необходимое условіе красавицы сельской: свѣтская «полувоздушная» красавица кажется поселянину рѣшительно «невзрачною», даже производить на него непріятное впечатлѣніе; потому что она привыкъ считать «худобу» слѣдствіемъ болѣзnenности или «горькой доли». Но работа не дастъ разжирѣть: если сельская дѣвушка толста, это родъ болѣзnenности, знакъ «рыхлаго» сложенія, и народъ считаетъ большую полноту недостаткомъ; у сельской красавицы не можетъ быть маленькихъ ручекъ и ножекъ, потому что она много работаетъ — обѣ этихъ принадлежности красоты и не упоминается въ нашихъ пѣсняхъ. Однимъ словомъ, въ описаніяхъ красавицы въ народныхъ пѣсняхъ не найдется ни одного признака красоты, который не былъ бы выраженіемъ цвѣтущаго здоровья и равновѣсія силъ въ организмѣ, всегдашняго слѣдствія жизни въ довольствѣ при постоянной и нешуточной, но нечрезмѣрной работе. Совершенно другое дѣло свѣтская красавица: уже иѣсколько поколѣній предки ея жили не работая руками; при бездѣйственному образѣ жизни, крови льется въ оконечности мало; съ каждымъ новымъ поколѣніемъ мускулы рукъ и ногъ слабѣютъ, кости дѣлаются тоньше; необходимымъ слѣдствіемъ всего этого должны быть маленькия ручки и ножки — онѣ признакъ такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высшихъ классовъ общества — жизни безъ физической работы; если у свѣтской женщины большія руки и ноги, это признакъ или того, что она дурно сложена, или того, что она не изъ старинной хорошей фамиліи. Поэтому же самому у свѣтской красавицы должны быть маленькия ушки. Мигрень, какъ известно, интересная болѣзнь — и не безъ причины: отъ бездѣйствія кровь остается вся въ среднихъ органахъ, приливаетъ къ мозгу; нервная система и безъ того уже раздражительна отъ всеобщаго ослабленія въ организмѣ; неизбѣжное слѣдствіе всего этого — продолжительныя головныя боли и разнаго рода нервическія разстройства; что дѣлать, и болѣзнь интересна, чуть не завидна,

когда она слѣдствіе того образа жизни, который намъ нравится. Здоровье, правда, никогда не можетъ потерять своей цѣны въ глазахъ человѣка; потому что и въ довольствіѣ, и въ роскоши плохо жить безъ здоровья—вслѣдствіе того румянецъ на щекахъ и цвѣтущая здоровьемъ свѣжесть продолжаютъ быть привлекательными и для свѣтскихъ людей; но болѣзненность, слабость, вялость, томность также имѣютъ въ глазахъ ихъ достоинство красоты, какъ скоро кажутся слѣдствіемъ роскошно-бездѣйственнаго образа жизни. Блѣдность, томность, болѣзненность имѣютъ еще другое значеніе для свѣтскихъ людей: если поселянинъ ищетъ отдыха, спокойствія, то люди образованнаго общества, у которыхъ материальной нужды и физической усталости не бываетъ, но которымъ зато часто бываетъ скучно отъ бездѣлья и отсутствія материальныхъ заботъ, ищутъ «сильныхъ ощущеній, волненій, страстей», которыми придается цвѣть, разнообразіе, увлекательность свѣтской жизни, безъ того монотонной и безцвѣтной. А отъ сильныхъ ощущеній, отъ пылкихъ страстей человѣкъ скоро изнашивается: какъ же не очароваться томностью, блѣдностью красавицы, если томность и блѣдность ея служатъ признакомъ, что она «много жила»?

Мила живая свѣжесть цвѣта,
Знакъ юныхъ дней;
Но блѣдный цвѣтъ, тоски примѣта,
Еще милѣй.

Но если увлеченіе блѣдною, болѣзненною красотою признакъ искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человѣкъ чувствуетъ, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается въ выраженіи лица, всего яснѣе въ глазахъ—потому выраженіе лица, о которомъ такъ мало говорится въ народныхъ пѣсняхъ, получаетъ огромное значеніе въ понятіяхъ о красотѣ, господствующихъ между образованными людьми; и часто бываетъ, что человѣкъ кажется намъ прекрасенъ только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза.

Я пересмотрѣлъ, сколько позволяло мѣсто, главныя принадлежности человѣческой красоты, и мнѣ кажется, что всѣ онѣ производятъ на насъ впечатлѣніе прекраснаго потому, что въ нихъ мы видимъ проявленіе жизни, какъ понимаемъ ее. Теперь надо бно посмотретьъ противоположную сторону предмета, разсмотрѣть, отчего человѣкъ бываетъ некрасивъ.

Причину некрасивости общей фигуры человѣка всякий укажетъ въ томъ, что человѣкъ, имѣющій дурную фигуру, — «дурно сложенъ». Мы очень хорошо знаемъ, что уродливость—слѣдствіе болѣзни или пагубныхъ случаевъ, отъ которыхъ особенно легко уродуется человѣкъ въ первое время развитія. Если жизнь и ея проявленія—красота, очень естественно, что болѣзнь и ея слѣдствія—безобразіе. Но человѣкъ дурно сложенный — также уродъ, только въ меньшей степени, и причины «дурного сложенія» тѣ же самыя, которые производить уродливость, только слабѣе ихъ. Если человѣкъ родится горбатымъ — это слѣдствіе несчастныхъ обстоятельствъ, при которыхъ совершилось первое его развитіе; но сутуловатость та же горбатость, только въ меньшей степени, и должна происходить отъ тѣхъ же самыхъ причинъ. Вообще худо сложенный человѣкъ — до нѣкоторой степени искаженный человѣкъ; его фигура говоритъ намъ не о жизни, не о счастливомъ развитіи, а о тяжелыхъ сторонахъ развитія, о неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. Отъ общаго очерка фигуры переходимъ къ лицу. Черты его бываютъ нехороши или сами по себѣ или по своему выраженію. Въ лицѣ не нравится намъ «злое», «непріятное» выраженіе, потому, что злость — ядъ, отравляющій нашу жизнь. Но гораздо чаще лицо «некрасиво» не по выраженію, а по самымъ чертамъ: черты лица некрасивы бываютъ въ томъ случаѣ, когда лицевыя кости дурно организованы, когда хрящи и мускулы въ своемъ развитіи болѣе или менѣе носятъ отпечатокъ уродливости, т. е. когда первое развитіе человѣка совершилось въ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ.

Совершенно излишне пускаться въ подробныя доказательства мысли, что красотою въ царствѣ животныхъ кажется человѣку то, въ чёмъ выражается по человѣкообразнымъ понятіямъ жизнь свѣжая, полная здоровья и силъ. Въ млекопитающихъ животныхъ, организація которыхъ болѣе близкимъ образомъ сравнивается нашими глазами съ наружностью человѣка, прекраснымъ кажется человѣку округленность формъ, полнота и свѣжесть; кажется прекраснымъ граціозность движеній, потому что граціозными бываютъ движения какого-нибудь существа тогда, когда оно «хорошо сложено», т. е. напоминаетъ человѣка хорошо сложеннаго, а не урода. Некрасивымъ кажется все «неуклюжее», то есть до нѣкоторой степени уродливое по нашимъ понятіямъ, вездѣ отыскивающимъ

сходство съ человѣкомъ. Формы крокодила, ящерицы, черепахи напоминаютъ млекопитающихъ животныхъ, но въ уродливомъ, искаженномъ, нелѣпомъ видѣ; потому ящерица, черепаха отвратительны. Въ лягушкѣ къ непріятности формы присоединяется еще то, что это животное покрыто холодною слизью, какою бываетъ покрыть трупъ; отъ того лягушка дѣлается еще отвратительнѣе.

Не нужно подробно говорить и о томъ, что въ растеніяхъ намъ нравится свѣжестъ цвѣта и роскошность, богатство формъ, обнаруживающія богатую силами, свѣжую жизнь. Увѣдающее растеніе нехорошо; растеніе, въ которомъ мало жизненныхъ соковъ, нехорошо.

Кромѣ того шумъ и движеніе животныхъ напоминаютъ намъ шумъ и движеніе человѣческой жизни; до нѣкоторой степени напоминаютъ о ней шелестъ растеній, качанье ихъ вѣтвей, вѣчно колеблющіеся листочки ихъ — вотъ другой источникъ красоты для насъ въ растительномъ и животномъ царствѣ; пейзажъ прекрасенъ тогда, когда оживленъ.

Проводить въ подробности по различнымъ царствамъ природы мысль, что прекрасное есть жизнь и, ближайшимъ образомъ, жизнь, напоминающая о человѣкѣ и о человѣческой жизни, я считаю излишнимъ потому, что есть уже нѣсколько курсовъ эстетики, нечуждыхъ мысли, что красоту въ природѣ составляетъ то, что напоминаетъ человѣка (или выражаясь ихъ терминологіею, предвозвѣщааетъ личность), утверждающихъ, что прекрасное въ природѣ имѣеть значеніе прекраснаго только какъ намекъ на человѣка; потому, показавъ, что прекрасное въ человѣкѣ—жизнь, не нужно и доказывать, что прекрасное во всѣхъ остальныхъ областяхъ дѣйствительности, которое становится въ глазахъ человѣка прекраснымъ только потому, что служить намекомъ на прекрасное въ человѣкѣ и его жизни, также есть жизнь.

Но нельзя не прибавить, что вообще на природу смотритъ человѣкъ глазами владѣльца, и на землѣ прекраснымъ кажется ему также то, съ чѣмъ связано счастіе, довольство человѣческой жизни. Солнце и дневной свѣтъ очаровательно прекрасны между прочимъ потому, что въ нихъ источникъ всей жизни въ природѣ, и потому, что дневной свѣтъ благотворно дѣйствуетъ прямо на жизненные отправленія человѣка, возвышая въ немъ органическую дѣятель-

ность, а чрезъ это благотворно дѣйствуетъ даже на расположение нашего духа.

Можно вообще сказать, что, читая въ новѣйшихъ эстетикахъ мѣста, гдѣ перечисляются различные виды и качества прекраснаго въ дѣйствительности, приходишь къ мысли, что, сознательно поставляя красоту въ полнотѣ проявленія идеи, безсознательно принимаютъ ихъ авторы, что полнота жизни и красота въ дѣйствительности тожественны. И не только эта мысль кажется лежащею безсознательно въ основаніи взгляда ихъ на прекрасное въ природѣ, но и въ самомъ развитіи общей идеи прекраснаго слово «жизнь» попадается въ новѣйшихъ эстетическихъ сочиненіяхъ такъ часто, что наконецъ можно спросить, есть ли существенное различіе между нашимъ опредѣленіемъ: «прекрасное есть жизнь» и обыкновеннымъ опредѣленіемъ: «прекрасное есть единство идеи и образа»? Такой вопросъ рождается тѣмъ естественнѣе, что подъ «идею» въ новѣйшей эстетикѣ понимается общее понятіе, какъ оно опредѣляется всѣми подробностями своего дѣйствительнаго существованія, и потому между понятіемъ идеи и понятіемъ жизни (или, точнѣе, понятіемъ жизненной силы) есть прямая связь. Не есть ли предлагаемое нами опредѣленіе только переложеніе на обыкновенный языкъ того, что высказывается въ господствующемъ опредѣленіи терминологіею спекулятивной философіи?

Мы увидимъ, что есть существенная разница между тѣмъ и другимъ способомъ понимать прекрасное. Опредѣляя прекрасное какъ полное проявленіе идеи въ отдельномъ существѣ, мы необходимо прийдемъ къ выводу: «прекрасное въ дѣйствительности только призракъ, влагаемый въ нее нашою фантазіею»; изъ этого будетъ слѣдоватъ, что «собственно говоря, прекрасное создается нашою фантазіею, а въ дѣйствительности (или говоря языкомъ спекулятивной философіи: въ природѣ) истинно прекраснаго нѣтъ»; изъ того, что въ природѣ нѣтъ истинно прекраснаго, будетъ слѣдоватъ, что «искусство имѣть своимъ источникомъ стремленіе человѣка восполнить недостатки прекраснаго въ объективной дѣйствительности», и что «прекрасное, создаваемое искусствомъ, выше прекраснаго въ объективной дѣйствительности»— всѣ эти мысли составляютъ сущность господствующихъ нынѣ эстетическихъ понятій и занимаютъ столь важное мѣсто въ системѣ ихъ не случайно, а по строгому логическому развитію основнаго понятія о прекрасномъ.

Напротивъ того, изъ опредѣленія: «прекрасное есть жизнь» будетъ слѣдоватъ, что истинная, высочайшая красота есть именно красота встрѣчаемая человѣкомъ въ мірѣ дѣйствительности, а не красота создаваемая искусствомъ; происхожденіе искусства должно быть при такомъ возврѣніи на красоту въ дѣйствительности объясняемо изъ совершенно другаго источника; послѣ того и существенное значение искусства явится совершенно въ другомъ свѣтѣ.

Итакъ должно сказать, что новое понятіе о сущности прекраснаго, будучи выводомъ изъ такихъ общихъ возврѣній на отношенія дѣйствительного міра къ воображаемому, которыя совершенно различны отъ господствовавшихъ прежде въ наукѣ, приводя къ эстетической системѣ, также существенно различающейся отъ системъ господствовавшихъ въ послѣднее время, и само существенно различно отъ прежнихъ понятій о сущности прекраснаго. Но съ тѣмъ вмѣстѣ оно представляется какъ ихъ необходимое дальнѣйшее развитіе. Существенное различие между господствующуюю и предлагаемою эстетическими системами будемъ видѣть постоянно; чтобы указать на точку тѣснаго родства между ними, скажемъ, что новое возврѣніе объясняетъ важнѣйшіе эстетические факты, которые выставлялись на видъ въ прежней системѣ. Такъ напримѣръ, изъ опредѣленія «прекрасное есть жизнь», становится понятно, почему въ области прекраснаго нѣть отвлеченныхъ мыслей, а есть только индивидуальная сущность — жизнь мы видимъ только въ дѣйствительныхъ живыхъ существахъ, а отвлеченныя, общія мысли не входятъ въ область жизни.

Что касается существенного различія прежняго и предлагаемаго нами понятія о прекрасномъ, оно обнаруживается, какъ мы сказали, на каждомъ шагу; первое доказательство этого представляется намъ въ понятіяхъ объ отношеніи къ прекрасному возвышенного и комического, которая въ господствующей эстетической системѣ признаются соподчиненными видоизмѣненіями прекраснаго, проистекающими отъ различного отношенія между двумя его факторами, идею и образомъ. Въ господствующей системѣ эстетическихъ понятій чистое единство идеи и образа есть то, что называется собственно прекраснымъ; но не всегда бываетъ равновѣсіе между образомъ и идею: иногда идея береть перевѣсъ наѣть образомъ и, являясь намъ въ своей всеобщности, безконечности, переносить наѣсть въ область абсолютной идеи, въ область безконечнаго — это

называется возвышеннымъ (das Erhabene); иногда образъ подавляетъ, искашаетъ идею—это называется комическимъ (das Komische).

Подвергнувъ критикѣ коренное понятіе, мы должны подвергнуть ей и вытекающія изъ него возврѣнія, должны изслѣдоватъ сущность возвышенного и комического и ихъ отношенія къ прекрасному.

Господствующая эстетическая система даетъ намъ два опредѣленія возвышенного, какъ давала два опредѣленія прекраснаго. «Возвышенное есть перевѣсь идеи надъ формою» и «возвышенное есть проявленіе абсолютнаго». Въ сущности эти два опредѣленія совершенно различны, какъ существенно различными найдены были нами и два опредѣленія прекраснаго, представляемыя господствующею системою; въ самомъ дѣлѣ, перевѣсь идеи надъ формою производить не собственно понятіе возвышенного, а понятіе «туманнаго, неопределеннаго» и понятіе «безобразнаго» (das Hässliche); между тѣмъ, какъ формула: «возвышенное есть то, что пробуждаетъ въ насъ (или, употребляя терминологію спекулятивной философіи: что проявляеть въ себѣ) идею безконечнаго» остается определениемъ собственно возвышенного. Потому каждое изъ нихъ должно разсмотрѣть особенно.

Очень легко показать неприложимость къ возвышенному опредѣленія: «возвышенное есть перевѣсь идеи надъ образомъ», послѣ того какъ самъ Фишеръ, его принимающій, сдѣлалъ это, объяснивъ, что отъ перевѣса идеи надъ образомъ (выражая ту же мысль обыкновеннымъ языкомъ: отъ превозможенія силы, проявляющейся въ предметѣ, надъ всѣми стѣсняющими ее силами, или, въ природѣ органической, надъ законами организма, ее проявляющаго) происходитъ безобразное или неопределеннное («безобразное» сказалъ бы я, еслибы не боялся внасть въ игру словъ, сопоставляя безобразное и безобразное). Оба эти понятія совершенно различны отъ понятія возвышенного. Правда, безобразное бываетъ возвышеннымъ, когда оно ужасно; правда, туманная неопределеннность усиливаетъ впечатлѣніе возвышенного, производимое ужаснымъ или огромнымъ; но безобразное, если оно не страшно, бываетъ просто отвратительно или некрасиво; туманное, неопределенное не производитъ никакого эстетическаго дѣйствія, если не огромно или не ужасно. Безобразіемъ или туманною неопределенностью характеризуются не всѣ роды возвышенного; безобразное или неопределенное не всегда

имѣть характеръ возвышенного. Очевидно, что эти понятія различны отъ понятія возвышенного. «Перевѣсь идеи надъ формою», говоря строго, относится къ тому роду событій въ мірѣ нравственномъ и явленій въ мірѣ матеріальномъ, когда предметъ разрушается отъ избытка собственныхъ силъ; неоспоримо, что эти явленія часто имѣютъ характеръ чрезвычайно возвышенный; но только тогда, когда сила, разрушающая сосудъ, ее заключающій, уже имѣть характеръ возвышенности, или предметъ, ею разрушаемый, уже кажется намъ возвышеннымъ, независимо отъ своей погибели собственною силою. Иначе о возвышенномъ не будетъ и рѣчи. Когда ниагарскій водопадъ, сокрушивъ скалу, его образующую, уничтожится напоромъ собственныхъ силъ; когда Александъ Македонскій погибаетъ отъ избытка собственной энергіи, когда Римъ падаетъ собственной тяжестью, это явленія возвышенныя; но потому, что ниагарскій водопадъ, Римская Имперія, личность Александра Македонскаго сами по себѣ уже принадлежать области возвышенного; какова жизнь, такова и смерть, какова дѣятельность, таково и паденіе. Тайна возвышенности здѣсь не въ «перевѣсѣ идеи надъ явленіемъ», а въ характерѣ самого явленія; только отъ величія сокрушающагося явленія заимствуетъ свою возвышенность и его сокрушение. Само по себѣ изчезновеніе отъ перевѣса внутренней силы надъ ея времененнымъ проявленіемъ не есть еще критеріумъ возвышенного. Яснѣе всего «перевѣсь идеи надъ формою» выскаживается въ томъ явленіи, когда зародышъ листа, разростаясь, разрывается оболочку почки, его родившой: но это явленіе рѣшительно не относится къ разряду возвышенныхъ. «Перевѣсомъ идеи надъ формою», погибелю самого предмета отъ избытка развивающихся въ немъ силъ, отличается такъ называемая отрицательная форма возвышенного отъ положительной. Справедливо, что возвышенное отрицательное выше возвышенного положительного; потому надобно согласиться, что «перевѣсомъ идеи надъ формою» усиливается эффектъ возвышенного, какъ можетъ онъ усиливаться многими другими обстоятельствами, напр. уединенностью возвышенного явленія (пирамида въ открытой стени величественнѣе, нежели была бы среди другихъ громадныхъ построекъ; среди высокихъ холмовъ ея величие исчезло бы); но усиливающее эффектъ обстоятельство не есть еще источникъ самого эффекта; притомъ перевѣса идеи надъ обра зомъ, силы надъ явленіемъ очень часто не бываетъ въ положитель-

вомъ возвышенномъ. Примѣры этого могутъ быть во множествѣ отысканы въ каждомъ курсѣ эстетики.

Переходимъ къ другому опредѣлению возвышенного: «возвышенное есть проявленіе идеи безконечнаго», или выражая эту философскую формулу обыкновеннымъ языкомъ: «возвыщенное есть то, что возбуждается въ насъ идею безконечнаго». Самый бѣглый взглядъ на трактать о возвышенномъ въ новѣйшихъ эстетикахъ убѣждаетъ насъ, что это опредѣліе возвышенного лежитъ въ сущности господствующихъ понятій о немъ. Мало того; мысль, что возвышенными явленіями возбуждается въ человѣкѣ предчувствіе безконечнаго, господствуетъ и въ понятіяхъ людей, чуждыхъ строгой наукѣ; рѣдко можно найти сочиненіе, въ которомъ не высказывалось бы она, какъ скоро представляется поводъ, хотя самый отдаленный; почти въ каждомъ описаніи величественного пейзажа, въ каждомъ разсказѣ о какомъ-нибудь ужасномъ событии найдется подобное отступленіе или примѣненіе. Потому на мысль о возбужденіи величественнымъ идеи абсолютнаго должно обратить большие вниманія, нежели на предыдущее понятіе о перевѣсѣ въ немъ идеи надъ образомъ, критику которого было достаточно ограничить нѣсколькими словами.

Къ сожалѣнію, здѣсь не мѣсто подвергать анализу идею «абсолюта» или безконечнаго и показывать настоящее значеніе абсолютнаго въ области метафизическихъ понятій; тогда только, когда мы поймемъ это значеніе представится намъ вся неосновательность пониманія подъ возвышеннымъ безконечнаго. Но и не пускаясь въ метафизическія пренія, мы можемъ увидѣть изъ фактovъ, что идея безконечнаго, какъ бы ни понимать ее, не всегда, или лучше сказать почти никогда, не связана съ идею возвышенного. Строго и беспристрастно наблюдая за тѣмъ, что происходит въ насъ, когда мы созерцаемъ возвышенное, мы убѣдимся, что 1) возвышеннымъ представляется намъ самый предметъ, а не какія-нибудь вызываemые этимъ предметомъ мысли; такъ, напр., величественъ самъ по себѣ Казбекъ, величественно само по себѣ море, величественна сама по себѣ личность Цезаря или Катона. Конечно, при созерцаніи возвышенного предмета могутъ пробуждаться въ насъ различного рода мысли, усиливающія впечатлѣніе, имъ на насъ производимое; но возбуждаются онъ или нѣтъ, дѣло случая, независимо отъ котоаго предметъ остается возвышеннымъ: мысли и воспоминанія,

усиливающія ощущеніе, рождаются при всякомъ ощущеніи, но онъ уже слѣдствіе, а не причина первоначального ощущенія; и если, задумавшись надъ подвигомъ Муція Сцеволы, я дохожу до мысли: «да, безграницна сила патріотизма», то мысль эта только слѣдствіе впечатлѣнія, произведенного на меня независимо отъ нея самимъ поступкомъ Муція Сцеволы, а не причина этого впечатлѣнія; точно также, мысль: «нѣтъ ничего на землѣ прекраснѣе человѣка», которая можетъ пробудиться во мнѣ, когда я задумаюсь, глядя на изображеніе прекраснаго лица, не причина того, что я восхищаюсь имъ, какъ прекраснымъ, а слѣдствіе того, что оно уже прежде нея, независимо отъ нея кажется мнѣ прекрасно. И потому еслибы даже согласиться, что созерцаніе возвышенного всегда ведетъ къ идеѣ безконечнаго, то возвышенное, порождающее такую мысль, а не порождаемое ею, должно имѣть причину своего дѣйствія на насъ не въ ней, а въ чёмъ-нибудь другомъ. Но разсматривая свое представление о возвышенномъ предметѣ, мы открываемъ, что 2) очень часто предметъ кажется намъ возвышенъ, не переставая въ тоже время казаться далеко не беспредѣльнымъ и оставаясь въ рѣши-
тельной противоположности съ идею безграничности. Такъ Монбланъ или Казбекъ — возвышенный, величественный предметъ; но никто изъ насъ не думаетъ, въ противорѣчіе собственнымъ глазамъ, видѣть въ немъ безграницное или неизмѣримо великое. Море кажется беспредѣльнымъ, когда не видно береговъ; но всѣ эстетики утверждаютъ (и совершенно справедливо), что море кажется гораздо величественнѣе, когда видѣнъ берегъ, нежели тогда, когда береговъ не видно. Вотъ фактъ, обнаруживающій, что идея возвышенного не только не порождается идею безграничнаго, но даже можетъ быть (и часто бываетъ) въ противорѣчіи съ нею, что условіе безграничности можетъ быть невыгодно для впечатлѣнія, произведенного возвышеннымъ. Идемъ далѣе, пересматривая рядъ величественныхъ явлений по мѣрѣ возрастанія эффекта, ими произведенаго на чувство возвышенного. Гроза одно изъ величественнѣйшихъ явлений въ природѣ; но необходимо имѣть слишкомъ восторженное воображеніе, чтобы видѣть какую бы то ни было связь между грозою и безконечностью. Во времена грозы, мы восхищаемся, думая при этомъ только о самой грозѣ. «Но во времена грозы человѣкъ чувствуетъ собственную ничтожность предъ силами природы, силы природы кажутся ему безмѣрно превышающими его силы».

Что силы грозы кажутся намъ чрезвычайно превышающими наши собственные силы, это правда; но если явленіе представляется не-преобразимъ для человѣка, изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы оно казалось намъ неизмѣримо, безконечно могущественнымъ. Напротивъ, человѣкъ, смотря на грозу, очень хорошо помнить, что она бессильна надъ землею, что первый ничтожный холмъ непоколебимо отразить весь напоръ урагана, всѣ удары молніи. Правда, ударъ молніи можетъ убить человѣка; но чѣмъ изъ того? не эта мысль причиню, что гроза кажется мнѣ величественною. Когда я смотрю на то, какъ вертятся крылья вѣтряной мельницы, я также очень хорошо знаю, что, задѣвъ меня, мельничное крыло переломить меня, какъ щепку, я «сознаю ничтожность своихъ силъ предъ силой» мельничного крыла; а между тѣмъ едвали въ комъ-нибудь взглядь на вертящуюся вѣтряную мельницу возбуждалъ ощущеніе возвышенаго. «Но здѣсь не пробуждается во мнѣ опасеніе за себя; я знаю, что мельничное крыло не запѣтитъ меня; во мнѣ нѣть чувства ужаса, какое пробуждается грозою» — справедливо; но этимъ говорится уже совершенно не то, что говорилось прежде; этимъ говорится: «возвышенное есть ужасное, грозное». Посмотримъ на это опредѣленіе «возвышенного силъ природы», которое въ самомъ дѣлѣ находимъ въ эстетикахъ. Ужасное очень часто бываетъ возвышеннымъ, это правда; но не всегда оно бываетъ возвышеннымъ: гремучая змѣя, скорпіонъ, тарантуль ужаснѣе льва; но они отвратительно-ужасны, а не возвыщенно-ужасны. Чувство ужаса можетъ усиливать ощущеніе возвышенаго, но ужасъ и возвышенность — два совершенно различныхъ понятія. Идемъ однако далѣе по ряду величественныхъ явленій. Въ природѣ мы не видѣли ничего, прямо говорящаго о безграничности; противъ заключенія, выводимаго отсюда, можно замѣтить, что «истинно возвышенное не въ природѣ, а въ самомъ человѣкѣ»; согласимся, хотя и въ природѣ много истинно возвышенаго. Но почему же «возвышенна» кажется намъ «безгранична» любовь или порывъ «всесокрушающаго» гнѣва? неужели потому, что сила этихъ стремленій «неодолима», пробуждаетъ идею безконечнаго своею неодолимостью? Если такъ, то гораздо неодолимѣе потребность спать: самый страстный любовникъ едвали можетъ пробыть безъ сна четверо сутокъ; гораздо неодолимѣе потребности «любить» потребность есть и пить: это истинно безгранична потребность, потому что нѣть человѣка, не признаю-

щаго силы ея, между тѣмъ какъ о любви очень многіе не имѣютъ и понятія: изъ-за этой потребности совершаются гораздо больше и гораздо труднѣйшихъ подвиговъ, нежели отъ «всесильнаго» могущества любви. Почему же мысль о ёдѣ и питьѣ не возвышенна, а идея любви возвышена? Непреоборимость не есть еще возвышенность; безграницность и бесконечность вовсе не связаны съ идею величественнаго.

Едвали можно послѣ этого раздѣлять мысль, что «возвышенное есть перевѣсь идеи надъ формою», или что «сущность возвышенного состоить въ пробужденіи идеи безконечнаго». Въ чёмъ же состоить она? Очень простое опредѣленіе возвышеннаго будетъ, кажется, вполнѣ обнимать и достаточно объяснять всѣ явленія, относящіяся къ его области.

«Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, съ чѣмъ сравнивается нами». — «Возвышенный предметъ—предметъ, много пре- восходящій своимъ размѣромъ предметы, съ которыми сравнивается нами; возвышенно явленіе, которое гораздо сильнѣе другихъ явленій, съ которыми сравнивается нами».

Монбланъ и Казбекъ величественные горы, потому что гораздо огромнѣе дюжинныхъ горъ и пригорковъ, которые мы привыкли видѣть; «величественный» лѣсь въ двадцать разъ выше нашихъ яблонь, акацій и въ тысячу разъ огромнѣе нашихъ садовъ и рощъ; Волга гораздо шире Тверцы или Клязьмы; гладкая площадь моря гораздо обширнѣе площади прудовъ и маленькихъ озеръ, которыхъ безпрестанно попадаются путешественнику; волны моря гораздо выше волнъ этихъ озеръ, потому буря на морѣ возвышенное явленіе, хотя бы никому не угрожала опасностью; свирѣпый вѣтеръ во время грозы во сто разъ сильнѣе обыкновеннаго вѣтра, шумъ и ревъ его гораздо сильнѣе шума и свиста, производимаго обыкновеннымъ крѣпкимъ вѣтромъ; во время грозы гораздо темнѣе, нежели въ обыкновенное время, темнота доходить до черноты; молнія ослѣпительнѣе всякаго свѣта—все это дѣлаетъ грозу возвышеннымъ явленіемъ. Любовь гораздо сильнѣе нашихъ ежедневныхъ мелочныхъ разсчетовъ и побужденій; гнѣвъ, ревность, всякая вообще страсть также гораздо сильнѣе ихъ—потому страсть возвышенное явленіе. Юлій Цезарь, Отелло, Дездемона, Офелія возвышенныя личности; потому что Юлій Цезарь, какъ полководецъ и государственный человѣкъ далеко выше всѣхъ полководцевъ и государ-

ственныхъ людей своего времени; Отелло любить и ревнуетъ гораздо сильнѣе дюжинныхъ людей; Дездемона и Офелия любить и страдаютъ съ такою полною преданностью, способность къ которой найдется далеко не во всякой женщинѣ. «Гораздо больше, гораздо сильнѣе»—вотъ отличительная черта возвышенного.

Надобно прибавить, что вмѣсто термина «возвышенное» (*das Erhabene*) было бы гораздо проще, характеристичнѣе и лучше говорить «великое» (*das Grosse*). Юлій Цезарь, Марій не «возвышенные», а «великие» характеры. Нравственная возвышенность только одинъ частный родъ величія вообще.

Просмотрѣвъ лучшіе курсы эстетики, легко убѣдиться, что въ нашемъ краткомъ обзорѣ подведены подъ принимаемое нами понятие возвышенного или великаго всѣ его главныя видоизмѣненія. Остается показать, какъ принимаемое нами возврѣніе на сущность возвышенного относится къ подобнымъ мыслямъ, высказаннымъ въ извѣстныхъ нынѣ курсахъ эстетики.

О томъ, что «возвышенность» слѣдствіе превосходства надъ окружающимъ, говорится у Канта, и въ слѣдъ за нимъ у позднѣйшихъ эстетиковъ: «мы сравниваемъ, говорятъ они, возвышенное въ пространствѣ съ окружающими его предметами; для этого на возвышенномъ предметѣ должны быть легкія подраздѣленія, дающія возможность, сравнивая, считать, во сколько разъ онъ больше окружающихъ его предметовъ, во сколько разъ, напр., гора больше дерева, растущаго на ней. Счетъ такъ длиненъ, что не дошедшіи до конца, мы уже теряемся въ немъ; окончивъ его, должны опять начинать, потому что не могли сосчитать, и считаемъ опять безъ успѣши. Такимъ образомъ намъ кажется наконецъ, что гора неизмѣримо велика, безконечно велика». — «Сравненіе съ окружающими предметами необходимо для того, чтобы предметъ казался возвышеннымъ», — мысль очень близкая къ принимаемому нами возврѣнію на основной признакъ возвышенного. Но обыкновенно она прилагается только въ возвышенному въ пространствѣ, между тѣмъ какъ ее должно одинаково проводить по всѣмъ родамъ возвышенаго; обыкновенно говорятъ: «возвышенное состоить въ превозможеніи идеи надъ формою, и это превозможеніе на низшихъ степеняхъ возвышенного узнается сравненіемъ предмета по величинѣ съ окружающими предметами»; намъ кажется, что должно говорить: «превосходство великаго (или возвышенного) надъ мелкимъ и дю-

жиннымъ состоять въ гораздо большей величинѣ (возвышенное въ пространствѣ или во времени) или въ гораздо большей силѣ (возвышенное силѣ природы и возвышенное въ человѣкѣ). Изъ второстепенного и частнаго признака возвышенности сравненіе и пре- восходство по величости должно быть возведено въ главную и общую мысль при опредѣленіи возвышенного.

Такимъ образомъ принимаемое нами понятіе возвышенного точно такъ же относится къ обыкновенному опредѣленію его, какъ наше понятіе о сущности прекраснаго къ прежнему взгляду—въ обоихъ случаяхъ возводится на степень общаго и существеннаго начала то, что прежде считалось частнымъ и второстепеннымъ признакомъ, было закрываемо отъ вниманія другими понятіями, которыя мы отбрасываемъ, какъ побочные. Всѣдѣствіе измѣненія точки зрѣнія и возвышенное, подобно прекрасному, представляется намъ какъ явленіе болѣе самостоятельное и однако же болѣе близкое человѣку, нежели представлялось. Съ тѣмъ вмѣстѣ наше воззрѣніе на сущность возвышенного признаетъ его фактическую реальность, между тѣмъ какъ обыкновенно полагаютъ, будто бы возвышенное въ дѣйствительности только кажется возвышеннымъ отъ вмѣшательства нашей фантазіи, расширяющей до безграницности объемъ или силу возвышенного предмета или явленія. И дѣйствительно, если возвышенное существенно есть безконечное, то возвышенного нѣтъ въ мірѣ, доступномъ нашимъ чувствамъ и нашему уму.

Но если по опредѣленіямъ прекраснаго и возвышенного, нами принимаемымъ, прекрасному и возвышенному придается независимость отъ фантазіи; то съ другой стороны этими опредѣленіями выставляется на первый планъ отношеніе къ человѣку вообще и къ его понятіямъ тѣхъ предметовъ и явленій, которыя находить человѣкъ прекрасными и возвышенными: прекрасное то, въ чѣмъ мы видимъ жизнь такъ, кака мы понимаемъ и желаемъ ея, какъ она радуетъ насъ; великое то, что гораздо выше предметовъ, съ которыми сравниваемъ его мы. Изъ обыкновенныхъ опредѣлений напротивъ, по странному противорѣчію, слѣдуетъ: прекрасное и великое вносятся въ дѣйствительность человѣческимъ взглядомъ на вещи, создаются человѣкомъ, но не имѣютъ никакой связи съ понятіями человѣка, съ его взглядомъ на вещи. Ясно также, что опредѣленіями прекраснаго и возвышенного, которыя кажутся намъ справедливыми, разрушается непосредственная связь этихъ понятій,

подчиняемыхъ однѣ другому опредѣленіями: «прекрасное есть равновѣсие идеи и образа», «возвышенное есть перевѣсь идеи надъ образомъ». Въ самомъ дѣлѣ, принимая опредѣленіе: «прекрасное есть жизнь», «возвышенное есть то, что гораздо больше всего близкаго или подобнаго», мы должны будемъ сказать, что прекрасное и возвышенное — совершенно различныя понятія, неподчиненные другъ другу и соподчиненные только одному общему понятію, очень далекому отъ такъ называемыхъ эстетическихъ понятій: «интересное».

Потому, если эстетика — наука о прекрасномъ по содержанію, то она не имѣть права говорить о возвышенномъ, какъ не имѣть права говорить о добромъ, истинномъ и т. д. Если же понимать подъ эстетикою науку объ искусствѣ, то конечно она должна говорить о возвышенномъ; потому что возвышенное входитъ въ область искусства.

Но говоря о возвышенномъ, до сихъ порь мы не касались трагического, которое обыкновенно признаютъ высшимъ глубочайшимъ родомъ возвышенного. Господствующія нынѣ въ наукѣ понятія о трагическомъ играютъ очень важную роль не только въ эстетикѣ, но и во многихъ другихъ наукахъ (напр., въ исторіи), даже сливаются съ обиходными понятіями о жизни. Поэтому я считаю неизлишнимъ довольно подробно изложить ихъ, чтобы дать основаніе своей критикѣ. Въ изложеніи буду я строго слѣдовать Фишеру, котораго эстетика нынѣ считается наилучшею въ Германіи.

«Субъектъ по своей природѣ существо дѣятельное. Дѣйствуя, онъ переносить во виѣшній міръ свою волю и тѣмъ самымъ приходить въ столкновеніе съ закономъ необходимости, владычествующимъ во виѣшнемъ мірѣ. Но дѣйствие субъекта необходимо запечатлѣно индивидуальною ограниченностью и потому нарушаетъ абсолютное единство объективной связи міра. Это оскорблѣніе есть вина (die Schuld), и отзывается въ субъектѣ тѣмъ, что связанный узами единства виѣшній міръ весь какъ одно цѣлое взволновывается дѣйствиемъ субъекта и чрезъ это отдельный поступокъ субъекта влечеть за себою необозримый и непредусмотримый рядъ послѣдствій, въ которыхъ субъектъ уже не узнаетъ своего поступка и своей воли; тѣмъ не менѣе онъ долженъ признавать необходимую связь всѣхъ этихъ послѣдующихъ явлений со своимъ поступкомъ и чувствовать себя въ отвѣтственности за нихъ. Отвѣтственность за то, чего не хотѣлъ, и что однако сдѣлалъ субъектъ, имѣть для него

послѣдствiемъ страданiе,—т. е. выраженiе противодѣйствiя отъ нарушенного хода вещей во внѣшнемъ мiрѣ нарушившему ихъ дѣйствiю. Необходимость этого противодѣйствiя и страданiя усиливается тѣмъ, что угрожаемый субъектъ предвидитъ послѣдствiя, предвидеть зло себѣ, но подвергается ему чрезъ тѣ самыя средства, которыми хотѣль избѣжать его. Страданiе можетъ усилиться до погибели субъекта и его дѣла. Но дѣло субъекта погибаетъ только повидимому, погибаетъ не совершенно: объективный рядъ послѣдствiй переживаетъ погибель субъекта и, мало-по-малу сливаясь съ всеобщимъ единствомъ, очищается отъ своей индивидуальной ограниченности, полученной отъ субъекта. Если субъектъ, погибая, усвояется себѣ это сознанiе правдивости своего страданiя и того, что дѣло его не погибаетъ, а очищается и торжествуетъ его погибелю, то примиренiе полно, и самъ субъектъ просвѣтленныи образомъ переживаетъ себя въ своемъ очищающемся и торжествующемъ дѣлѣ. Все это движение называется судьбою или «трагическими». Трагическое бываетъ различныхъ родовъ. Первая форма его та, когда субъектъ является не фактически, а только въ возможности виновнымъ, и когда поэтому сила, его губящая, является стѣпою силою природы, которая на отдѣльномъ субъектѣ, отличающемся болѣе внѣшнимъ блескомъ богатства и т. п., ижели внутренними достоинствами, показываетъ примѣръ, что индивидуальное должно погибнуть потому, что оно индивидуальное. Погибель субъекта исходить здѣсь не отъ нравственного закона, а отъ случая, который однако находить себѣ объясненiе и оправданiе въ примиряющей мысли, что смерть — всеобщая необходимость. Въ трагическомъ простой вины (*die einfache Schuld*) возможность вины переходить въ дѣйствительную вину. Но вина лежитъ не въ необходимости объективномъ противорѣчii, а въ какой-нибудь запутанности, связанной съ дѣйствiемъ субъекта. Вина эта нарушаетъ въ чемъ-нибудь нравственную целостъ мiра. Чрезъ нее страдаютъ другiе субъекты, такъ какъ вина здѣсь на одной сторонѣ, то сначала кажется, что они страдаютъ невинно. Но въ такомъ случаѣ субъекты были бы чистымъ объектомъ для другаго субъекта, что противорѣчить значенiю субъективности. Поэтому они должны открыть къ себѣ слабую сторону какоюнибудь ошибкою, находящуюся въ связи съ ихъ сильными сторонами, и погибать чрезъ эту слабую сторону; страданiе главнаго субъекта, какъ обратная сторона его

поступка, истекает силою оскорбленного нравственного порядка изъ самой вины. Орудіемъ наказанія могутъ быть или оскорбленные субъекты или самъ преступникъ, сознающій свою вину. Наконецъ высшая форма трагического — трагическое нравственного столкновенія. Общий нравственный законъ дробится на частныя требованія, которыя часто могутъ находиться въ противоположности между собою, такъ что, удовлетворяя одному, человѣкъ необходимо оскорбляетъ другое. Борьба эта, истекающая изъ внутренней необходимости, а не изъ случайностей, можетъ оставаться внутреннею борьбою въ сердце одного человѣка. Такова борьба въ сердцѣ Антигоны у Софокла. Но какъ искусство олицетворяетъ все въ отдельныхъ образахъ, то обыкновенно борьба двухъ требованій нравственного закона представляется въ искусствѣ борьбою двухъ лицъ. Одно изъ двухъ противорѣчащихъ стремлений справедливѣе и потому сильнѣе другого; оно сначала побѣждаетъ все, ему сопротивляющееся, и тѣмъ самымъ становится уже несправедливо, подавляя справедливое право противоположного стремленія. Теперь справедливость на сторонѣ, которая сначала была побѣждена, и стремленіе, въ сущности болѣе справедливое, погибаетъ подъ тяжестью собственной несправедливости отъ ударовъ противоположнаго стремленія, которое, будучи оскорблено въ своесть правѣ, имѣть за собой, въ началѣ противодѣйствія, всю силу истины и справедливости, но, побѣждая впадаетъ само точно такимъ же образомъ въ несправедливость, влекущую за собою погибель или страданіе. Прекрасно весь этотъ родъ трагического развивается въ «Юліѣ Цезарѣ» Шекспира: Римъ стремится къ монархической формѣ правленія; представителемъ этого стремленія является Юлій Цезарь; оно справедливѣе и потому сильнѣе противоположнаго направленія, стремящагося сохранить издавна установленвшееся устройство Рима; Юлій Цезарь побѣждаетъ Помпея. Но существующее издавна также имѣть право существовать, оно возстаетъ противъ своего побѣдителя въ лицѣ Брута. Цезарь погибаетъ; но заговорщики сами мучатся сознаніемъ того, что Цезарь, погибшій отъ нихъ, выше ихъ, и сила, которой онъ былъ представителемъ, воскресаетъ въ лицѣ Тріумвировъ. Брутъ и Кассій погибаютъ; но на гробѣ Брута Антоній и Октавій высказываютъ свое сожалѣніе о немъ. Такъ совершаются наконецъ примиреніе противоположныхъ стремлений, изъ которыхъ каждое и справедливо и несправедливо

въ своей односторонности, которая постепенно сглаживается падениемъ каждого изъ нихъ; изъ борьбы и погибели возникаетъ единство и новая жизнь».

Изъ этого изложения видно, что понятіе трагического въ нѣмецкой эстетикѣ соединяется съ понятіемъ судьбы, такъ что трагическая участь человѣка представляется обыкновенно какъ «столкновеніе человѣка съ судьбою», какъ слѣдствіе «вмѣшательства судьбы». Понятіе судьбы обыкновенно искажается въ новыхъ европейскихъ книгахъ, старающихся объяснить его нашими научными понятіями, даже связать съ ними; потому необходимо представить его во всей чистотѣ и наготѣ. Оно чрезъ это избавится отъ несобразнаго смѣшанія съ понятіями науки, въ сущности ему противорѣчющими, и выкажеть всю свою неосновательность, которая прячется при новѣйшихъ передѣлкахъ его на наши нравы. Живое и неподдѣльное понятіе о судьбѣ было у старинныхъ грековъ (т. е. у грековъ до появленія у нихъ философіи) и до сихъ поръ живеть у многихъ восточныхъ народовъ; оно господствуетъ въ рассказахъ Геродота, въ греческихъ миѳахъ, въ индійскихъ поемахъ, сказкахъ Тысячи и одной ночи и проч. Что касается позднѣйшихъ превращеній этого основнаго возврѣнія подъ влияніемъ понятій о мірѣ, доставленныхъ наукой, эти видоизмѣненія мы считаемъ лишнимъ исчислять, и еще менѣе находимъ нужды подвергать ихъ особенной критикѣ, потому что всѣ они, подобно понятію новѣйшихъ эстетиковъ о трагическомъ, представляясь слѣдствіемъ стремленія согласить непримируемое—фантастическая представлена полудикаго и научныя понятія—страждуть такою же несостоятельностью, какъ и понятіе новѣйшихъ эстетиковъ о трагическомъ: различие только то, что натянутость соединенія противоположныхъ началъ въ предшествующихъ попыткахъ сближенія была очевиднѣе, нежели въ понятіи о трагическомъ, которое составлено съ чрезвычайнымъ діалектическимъ глубокомысліемъ. Поэтому не считаемъ за нужное излагать всѣ эти искаженные понятія о судьбѣ, считая достаточнымъ показать, какъ угловато виднѣется первоначальная основа даже изъ-подъ послѣдней и искуснѣйшей діалектической одежды, которую облеклась она въ господствующемъ нынѣ эстетическомъ возврѣніи на трагическое.

Вотъ какъ понимаютъ ходъ жизни человѣческой народы, имѣющіе неподдѣльное понятіе о судьбѣ: если я не буду принимать ни-

какихъ предосторожностей противъ несчастія, я могу удељать, и почти всегда удаю; но если я приму предосторожности, я нѣпремѣнно погибну, и погибну именно отъ того, въ чёмъ искалъ спасенія. Я собираюсь въ дорогу, и принимаю всѣ предосторожности противъ несчастій, могущихъ случиться въ дорогѣ; между прочимъ, зная, что не вездѣ можно найти медицинскія пособія, беру съ собой нѣсколько фланчиковъ съ нужнѣйшими лекарствами и прячу ихъ въ боковой карманъ экипажа. Чѣдно необходимо выйти изъ этого по понятіямъ старинныхъ грековъ? То, что экипажъ мой опрокидывается въ дорогѣ, фланчики летять изъ кармана; опрокидываясь самъ, я попадаю вискомъ на одинъ изъ фланчиковъ, раздавливаю его, осколокъ стекла врѣзывается въ мой високъ и я умираю. Еслибы не взято было мною предосторожностей, не было бы мнѣ никакой бѣды; но я хотѣлъ принять мѣры противъ несчастія и погибъ отъ того самаго, въ чёмъ искалъ безопасноти. Подобный взглядъ на человѣческую жизнь такъ мало подходитъ къ нашимъ понятіямъ, что имѣть для насъ интересъ только фантастического; трагедія, основанная на идеѣ восточной или старинной греческой судьбы, для насъ будетъ имѣть значеніе сказки, обезображеній передѣлкою. А между тѣмъ, все представленное нами изложеніе понятій о трагическомъ въ нѣмецкой эстетикѣ есть только опытъ привести понятіе о судьбѣ въ согласіе съ понятіями современной науки. Это введеніе понятія о судьбѣ въ науку посредствомъ эстетического воззрѣнія на сущность трагического было сдѣлано съ чрезвычайнымъ глубокомысліемъ, свидѣтельствующимъ о великой силѣ умовъ, трудившихся надъ примиренiemъ чуждыхъ наукъ воззрѣній на жизнь съ понятіями науки; но эта глубокомысленная попытка служить рѣшительнымъ доказательствомъ того, что подобныя стремленія никогда не могутъ быть успешны: наука можетъ только объяснить происхожденіе фантастическихъ мнѣній полудикаго человѣка, но не примирить ихъ съ истинною. Понятіе о судьбѣ родилось и развилось слѣдующимъ образомъ.

Одно изъ дѣйствій образованности на человѣка состоитъ въ томъ, что она, расширяя кругъ его зрѣнія, даетъ ему возможность понимать въ истинномъ смыслѣ явленія, несходные съ ближайшими къ нему, которыхъ одни только кажутся удобопонятными для необразованного ума, не постигающаго явленій чуждыхъ непосредственной сферѣ его жизненныхъ отправлений. Наука даетъ чело-

вѣку понятіе о томъ, что жизнь природы, жизнь растеній и животныхъ совершенно отлична оть человѣческой жизни. Дикарь или полудикій человѣкъ не представляетъ себѣ жизни иной, какъ та, которую знаетъ онъ непосредственно, какъ человѣческая жизнь; ему кажется, что дерево говоритъ, чувствуетъ, наслаждается и страдаетъ, подобно человѣку; что животные дѣйствуютъ такъ же сознательно, какъ человѣкъ—у нихъ свой языкъ; даже и на человѣческомъ языке не говорять они только потому, что хитры и надѣются выиграть молчаніемъ больше, нежели разговорами. Точно такъ же онъ воображаетъ себѣ жизнь рѣки, скалы: скала—это окаменѣвшій богатырь, сохранившій чувства и мысль; рѣка—это наяды, русалка, водяной. Землетрясенія Сициліи происходять оттого, что гигантъ, заваленный этимъ островомъ, старается сбросить тяжесть, которая лежитъ на его членахъ. Во всей природѣ видитъ дикарь человѣкоподобную жизнь, всѣ явленія природы производить отъ сознательнаго дѣйствія человѣкообразныхъ существъ. Какъ онъ очеловѣчиваетъ вѣтеръ, холодъ, жаръ (припомните напримеръ сказку о томъ, какъ спорили мужикъ-вѣтеръ, мужикъ-морозъ, мужикъ-солнце, кто изъ нихъ сильнѣе), болѣзни (рассказы о холерѣ, о двѣнадцати сестрахъ-лихорадкахъ, о цынгѣ—послѣдній между шпицбергенскими промышленниками), точно такъ же очеловѣчиваетъ онъ и силу случая. Приписывать его дѣйствія произволу человѣкообразнаго существа еще легче, нежели объяснить подобнымъ образомъ другія явленія природы и жизни; потому что именно дѣйствія случая скорѣе, нежели явленія другихъ силъ, могутъ пробудить мысль о капризѣ, произволѣ, о всѣхъ тѣхъ качествахъ, которые составляютъ исключительную принадлежность человѣческой личности. Посмотримъ же, какимъ образомъ изъ воззрѣнія на случай, какъ на дѣло человѣкообразнаго существа, развиваются всѣ качества, приписываемыя судьбѣ дикими и полудикими народами. Чѣмъ важнѣе дѣло, задуманное человѣкомъ, тѣмъ больше нужно условій, чтобы оно исполнилось именно такъ, какъ задумано; почти никогда всѣ условія не встрѣчается такъ, какъ человѣкъ разсчитывалъ; и потому почти никогда важное дѣло не дѣлается именно такъ, какъ предполагалъ человѣкъ. Эта случайность, разстроивающая наши планы, кажется полудикому человѣку, какъ мы сказали, дѣломъ человѣкообразнаго существа, судьбы; изъ этого основнаго характера, замѣчаемаго въ случаѣ, или судьбѣ, сами собою слѣдуютъ всѣ качества, прида-

ваемыя судьбъ современными дикарями, очень многими восточными народами и старинными греками. Ясно, что самыя важныя дѣла именно и служать игралищемъ судьбы (потому, какъ мы сказали, что чѣмъ важнѣе дѣло, тѣмъ отъ большаго числа условій оно зависитъ, и слѣдовательно тѣмъ обширнѣе въ немъ поле для случайностей), идемъ далѣе. Случай уничтожаетъ наши расчеты — значитъ судьба любить уничтожать наши расчеты, любить посмѣяться надъ человѣкомъ и его расчетами; случай невозможно предусмотрѣть,—невозможно сказать, почему случилось такъ, а не иначе—слѣдовательно судьба капризна, своенравна; случай часто пагубенъ для человѣка — слѣдовательно судьба любить вредить человѣку, судьба зла, и въ самомъ дѣлѣ у грековъ судьба — человѣконенавистница; злой и сильный человѣкъ любить вредить именно самыми лучшими, самыми умными, самыми счастливыми людьми — ихъ преимущественно любить губить и судьба; злобный, капризный и очень сильный человѣкъ любить выказать свое могущество, говоря напередъ тому, кого хочетъ уничтожить: «я хочу сдѣлать съ тобою вотъ-что; попробуй бороться со мною»—такъ и судьба объявляетъ впередъ свои рѣшенія, чтобы имѣть злую радость доказать намъ наше безсиліе предъ нею и посмѣяться надъ нацими слабыми, безуспѣшными попытками бороться съ нею, избѣжать ея. Странными кажутся намъ теперь подобныя мнѣнія. Но посмотримъ, какъ они отразились въ эстетической теоріи трагического.

Она говоритъ: свободное дѣйствіе человѣка возмущаетъ естественный ходъ природы; природа и ея законы возстаютъ противъ оскорбителя своихъ правъ; слѣдствіемъ этого бываетъ страданіе и погибель дѣйствующаго лица, если дѣйствіе было такъ могущественно, что вызванное имъ противодѣйствіе было серьезно: «потому все великое подлежитъ трагической участіи». Природа здѣсь представляется живымъ существомъ, чрезвычайно раздражительнымъ, чрезвычайно щекотливымъ насчетъ своей неприкосновенности. Неужели въ самомъ дѣлѣ природа оскорбляется? неужели въ самомъ дѣлѣ природа мстить? нѣтъ; она продолжаетъ вѣчно дѣйствовать по своимъ законамъ, она не знаетъ о человѣкѣ и его дѣлахъ, о его счастіи и его погибели; ея законы могутъ имѣть и часто имѣть пагубное для человѣка и его дѣлъ дѣйствіе; но на нихъ же опирается всякое человѣческое дѣйствіе. Природа безстрастна къ человѣку; она не врагъ и не другъ ему: она—то удобное, то неудоб-

ное поприще для его дѣятельности. Въ томъ нѣтъ сомнѣнія, что всякое важное дѣло человѣка требуетъ сильной борьбы съ природою или съ другими людьми; но почему это такъ? потому только, что какъ бы ни было само по себѣ важно дѣло, мы привыкли не считать его важнымъ, если оно совершается безъ сильной борьбы. Такъ дыханіе важнѣе всего въ жизни человѣка; но мы не обращаемъ и вниманія на него, потому что ему обыкновенно не противостоять никакія препятствія; для дикаря, питающагося даромъ ему достающимися плодами хлѣбнаго дерева, и для европейца, которому хлѣбъ достается только чрезъ тяжелую работу земледѣлія, пища одинаково важна; но собираніе плодовъ хлѣбнаго дерева — «не важное» дѣло, потому, что оно легко; «важно» земледѣліе, потому что оно тяжело. Итакъ: не всѣ важны по существенному значенію своему дѣла требуютъ борьбы; но мы привыкли называть важными только тѣ изъ важныхъ въ сущности дѣль, которыхъ трудны. Много есть драгоценныхъ вещей, которыхъ не имѣютъ никакой цѣны, потому что достаются даромъ, напр. вода и солнечный свѣтъ; и много есть очень важныхъ дѣль, которымъ не придается никакой важности, потому только, что они дѣлаются легко. Но согласимся съ обыкновенною фразеологіею; пусть важны будутъ только тѣ дѣла, которыхъ требуютъ тяжелой борьбы. Неужели эта борьба всегда трагична? вовсе нѣтъ; иногда трагична, иногда нетрагична, какъ случится. Мореходецъ борется съ моремъ, бурями, подводными скалами; тяжело его поприще; но развѣ необходимо этому поприщу быть трагичнымъ? на одинъ корабль, который будетъ разбитъ бурею о подводныя скалы, приходится сотня кораблей, которые невредимы достигаютъ гавани. Пусть всегда нужна борьба; но не всегда борьба бываетъ носчастна. А счастливая борьба, какъ бы ни была она тяжела, не страданіе, а наслажденіе, не трагична, а только драматична. И не правда ли, что если приняты всѣ нужные предосторожности, то почти всегда дѣло кончается счастливо? Гдѣ же необходимость трагического въ природѣ? Трагическое въ борьбѣ съ природою случайность. Этимъ однимъ разрушается теорія, видящая въ немъ «законъ вселенной». — «Но общество? но другие люди? развѣ не долженъ выдержать съ ними тяжелую борьбу всякий великий человѣкъ?» Опять надообно сказать, что не всегда со-пряжены съ тяжелою борью великия событія въ исторіи, но что мы, по злоупотребленію языка, привыкли называть великими собы-

тіями только тѣ, которые были сопряжены съ тяжелою борьбою. Крещеніи франковъ было великимъ событіемъ; но гдѣ же при немъ тяжелая борьба? Не было тяжелой борьбы и при крещеніи русскихъ. Трагична ли судьба великихъ людей? Иногда трагична, иногда не трагична, какъ и участъ мелкихъ людей; необходимости тутъ нѣть никакой. И даже надобно вообще сказать, что участъ великихъ людей обыкновенно бываетъ легче участъ незамѣчательныхъ людей; впрочемъ опять не отъ особенного расположенія судьбы къ замѣчательнымъ или нерасположенія къ незамѣчательнымъ людямъ, а просто потому, что у первыхъ больше силъ, ума, энергіи, что другие люди больше питаются къ нимъ уваженія, сочувствія, скорбѣ готовы содѣйствовать имъ. Если въ людяхъ есть наклонность завидовать чужому величию, то еще больше въ нихъ наклонности уважать величие; общество будетъ благоговѣть предъ великимъ человѣкомъ, если нѣть особыхъ, случайныхъ причинъ обществу считать его вреднымъ для себя. Трагична или не трагична судьба великаго человѣка, зависитъ отъ обстоятельствъ; и въ исторіи меныше можно встрѣтить великихъ людей, участъ которыхъ была трагична, нежели такихъ, въ жизни которыхъ много было драматизма, но не было трагичности. Крезъ, Помпей, Юлій Цезарь имѣли трагическую судьбу; но Нума Помпилій, Марій, Сулла, Августъ окончили свое поприще очень счастливо. Что можно найти трагического въ судьбѣ Карла Великаго, Петра Великаго, Фридриха II, въ жизни Лютера, Вольтера, Гёте, Вальтеръ-Скотта? Борьбы въ жизни этихъ людей было много; но, говоря вообще, надобно сознаться, что удача и счастіе были на ихъ сторонѣ. А если Сервантесь умеръ въ нищетѣ, то развѣ не умираютъ въ нищетѣ тысячи незамѣчательныхъ людей, которые могли бы не меныше Сервантеса разсчитывать на счастливую развязку въ жизни и по своей незначительности вовсе не могли подлежать закону трагизма? Случайности жизни безразлично поражаютъ замѣчательныхъ и незамѣчательныхъ людей, безразлично благопріятствуютъ тѣмъ и другимъ. Но продолжаемъ нашъ обзоръ и отъ общаго понятія о трагическомъ переходимъ къ трагическому «простой вины».

«Въ характерѣ великаго человѣка, — говорить господствующая эстетическая теорія, — всегда есть слабая сторона; въ дѣйствованіи замѣчательного человѣка есть всегда что-нибудь ошибочное или преступное. Эта слабость, проступокъ, преступленіе губятъ его. А

между тѣмъ они необходимо лежать въ глубинѣ его характера, такъ что великий человѣкъ гибнетъ отъ того же самаго, въ чёмъ источникъ его величія». Не подвержено никакому сомнѣнію: что часто бываетъ это на самомъ дѣлѣ: бесконечные войны возвысили Наполеона; онѣ же и низвергли его; почти то же было и съ Людовикомъ XIV. Но не всегда бываетъ такъ. Часто великий человѣкъ погибаетъ безъ всякой вины съ своей стороны. Такъ погибъ Генрихъ IV и съ нимъ вмѣстѣ палъ Сюлли. До некоторой степени это безвинное паденіе находимъ и въ трагедіяхъ, несмотря на то что авторы ихъ бывали связаны своими понятіями: неужели Дездемона была въ самомъ дѣлѣ причиною своей погибели? всякий видѣтъ, что однѣ гнусныя хитрости Яго погубили ее. Неужели Ромео и Джульетта сами причиною своей погибели? Конечно, если мы захотимъ непремѣнно въ каждомъ погибающемъ видѣть преступника, то можемъ обвинять всѣхъ: Дездемона виновата тѣмъ, что была невинна душою и слѣдовательно не могла предвидѣть клеветы; Ромео и Джульетта виноваты тѣмъ, что любятъ другъ друга. Мысль видѣть въ каждомъ погибающемъ виноватаго—мысль натянутая и жестокая. Связь ея съ идею греческой судьбы и различными ея видоизмѣненіями очень ясна. Здѣсь можно указать на одну сторону этой связи: по греческимъ понятіямъ о судьбѣ, въ погибели своей бываетъ всегда виноватъ самъ человѣкъ; еслибы онъ поступилъ иначе, его не постигла бы погибель.

Другой родъ трагического, трагическое нравственного столкновенія, эстетика выводить изъ той же мысли, только взятой наоборотъ: въ трагическомъ простой вины основаніемъ трагической судьбы считаются мнимую истину, что каждое бѣдствіе, и особенно величайшее изъ бѣдствій, погибель, есть слѣдствіе преступленія; въ трагическомъ нравственного столкновенія новѣйшіе эстетики исходять отъ мысли, что за преступленіемъ всегда слѣдуетъ наказаніе преступника или погибелю или мученіями его собственной совѣсти. И эта мысль явнымъ образомъ ведеть свое начало отъ преданія о фуріяхъ, бичующихъ преступника. Само собою разумѣется, что въ ней подъ преступленіями разумѣются не въ частности уголовныя преступленія, которыхъ всегда наказываются государственными законами, а вообще нравственные преступленія, которыхъ могутъ быть наказаны только или стечениемъ обстоятельствъ, или общественнымъ мнѣніемъ, или совѣстью самого преступника.

Что касается до наказанія посредствомъ стеченія обстоятельствъ, то мы уже давно подсмѣиваемся надъ старинными романами, въ которыхъ «всегда подъ конецъ торжествовала добродѣтель и наказывался порокъ». Правда, мы могли бы не забывать при томъ, что и въ наше время пишутся подобные романы (въ примѣръ укажемъ на большую часть Диккенсовыхъ). Но мы во всякомъ случаѣ начинаемъ понимать, что земля не мѣсто суда, а мѣсто жизни. Однако романистамъ и эстетикамъ все-таки непремѣнно хочется, чтобы порокъ и преступленіе наказывались на землѣ. И вотъ явилась теорія, утверждающая, что они всегда наказываются общественнымъ мнѣніемъ и угрызеніями совѣсти. Но и это бываетъ не всегда. Что касается до общественного мнѣнія, то оно преслѣдуется далеко не всѣ нравственныхъ преступлений. А если голосъ общества не пробуждаетъ ежеминутно нашей совѣсти, то въ самой большей части случаевъ она и не проснется въ насъ, или, проснувшись, очень скоро заснетъ. Всякій образованный человѣкъ понимаетъ, какъ смѣшно смотрѣть на міръ тѣми глазами, какими смотрѣли греки городотовскихъ временъ; всякий нынѣ очень хорошо понимаетъ, что въ страданіи и погибели великихъ людей нѣтъ ничего необходимаго; что не всякий гибнущій человѣкъ гибнетъ за свои преступленія, что не всякий преступникъ погибаетъ; что не всякое преступленіе наказывается судомъ общественного мнѣнія, и проч. Поэтому нельзя не сказать, что трагическое не всегда пробуждается въ насъ идею необходимости и что вовсе не въ идеѣ необходимости основаніе дѣйствія его на человѣка и сущность его. Въ чемъ же сущность трагического?

Трагическое есть страданіе или погибель человѣка — этого совершенно достаточно, чтобы исполнить насъ ужасомъ и состраданіемъ, хотя бы въ этомъ страданіи, въ этой погибели и не проявлялась никакая «безконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость причина страданія и погибели человѣка — все равно, страданіе и погибель ужасны. Намъ говорять: «чисто случайная погибель — нелѣпость въ трагедіи» — въ трагедіяхъ, писанныхъ авторами, можетъ быть; въ дѣйствительной жизни — нѣтъ. Въ поэзіи авторъ считаетъ необходимою обязанностью «выводить развязку изъ самой завязки»; въ жизни развязка часто совершенно случайна, и трагическая участъ можетъ быть совершенно случайною, не переставая быть трагическою. Мы согласны,

что трагична участъ Макбета и лэди Макбеть, необходимо вытекающая изъ ихъ положенія и дѣлъ. Но неужели не трагична участъ Густава-Адольфа, который погибъ совершенно случайно въ битвѣ подъ Люценомъ, на пути торжества и побѣды? Определеніе:

трагическое есть ужасное въ человѣческой жизни,

кажется, будеть совершенно-полнымъ определеніемъ трагического въ жизни и въ искусствѣ. Правда, что большая часть произведеній искусства даетъ право прибавить: «ужасное, постигающее человѣка болѣе или менѣе неизбѣжно»; но во-первыхъ сомнительно, до какой степени справедливо поступаетъ искусство, представляя это ужасное почти всегда неизбѣжнымъ, когда въ самой дѣйствительности оно бываетъ большою частію вовсе не неизбѣжно, а чисто случайно; во-вторыхъ, кажется, что очень часто только по привычкѣ доискиваться во всякомъ великомъ произведеніи искусства «необходимаго спѣленія обстоятельствъ», «необходимаго развитія дѣйствія изъ сущности самого дѣйствія» мы находимъ, съ грѣхомъ пополамъ, «необходимость въ ходѣ событій» и тамъ, гдѣ ея вовсе неѣть, напримѣръ въ большей части трагедій Шекспира.

Съ господствующимъ определеніемъ комического: «комическое есть перевѣсь образа надъ идею», иначе сказать: внутренняя пустота и ничтожность, прикрывающаяся вѣшнотью, имѣющею притязаніе на содержаніе и реальное значеніе, нельзя не согласиться; но вмѣстѣ съ тѣмъ надобно сказать, что слишкомъ ограничиваются понятіе комического, противополагая его, для сохраненія діалектическаго метода развитія понятій, только понятію возвышенного. Комическое мелочное и комическое глупое или тупоумное, конечно, противоположно возвышенному; но комическое уродливое, комическое безобразное противоположно прекрасному, а не возвышенному. Возвышенное, по изложению самого Фишера, можетъ быть безобразнымъ: какимъ же образомъ комическое безобразное противоположно возвышенному, когда они различны между собою не сущностью, а степенью, не качествомъ, а количествомъ, когда безобразное мелочное принадлежить къ комическому, безобразное огромное или страшное принадлежить къ возвышенному?—Что безобразное противоположно прекрасному, ясно само по себѣ.

Окончивъ разборъ понятій о сущности прекраснаго и возвышенного, должно теперь перейти къ разбору господствующихъ взглядовъ на различные способы осуществленія идеи прекраснаго.

Здѣсь-то, кажется, сильнѣе всего выказывается важность основныхъ понятій, анализъ которыхъ занялъ такъ много страницъ въ этомъ очеркѣ: отступленіе отъ господствующаго взгляда на сущность того, что служить главнѣйшимъ содержаніемъ искусства, необходимо ведеть къ измѣненію понятій и о самой сущности искусства. Господствующая нынѣ система эстетики совершенно справедливо различаетъ три формы существованія прекраснаго, подъ которыми понимаются въ ней, какъ его видоизмѣненія, также возвышенное и комическое. (Мы будемъ говорить только о прекрасномъ, потому что было бы утомительно повторять три раза одно и то же: все, что говорится въ господствующей нынѣ эстетикѣ о прекрасномъ, совершенно прилагается въ ней къ его видоизмѣненіямъ; точно также наша критика господствующихъ понятій о различныхъ формахъ прекраснаго и наши собственные понятія объ отношеніи прекраснаго въ искусствѣ къ прекрасному въ дѣйствительности вполнѣ прилагаются и ко всѣмъ остальнымъ элементамъ, входящимъ въ содержаніе искусства, а въ числѣ ихъ къ возвышенному и комическому).

Три различные формы, въ которыхъ существуетъ прекрасное, слѣдующія: прекрасное въ дѣйствительности (или въ природѣ, если захотимъ удержать философскую терминологію), прекрасное въ фантазіи и прекрасное въ искусствѣ (въ объективномъ существованіи, придаваемомъ ему творческою фантазіею человѣка). Первый изъ основныхъ вопросовъ, здѣсь встрѣчающихся,—вопросъ объ отношеніи прекраснаго въ дѣйствительности къ прекрасному въ фантазіи и въ искусствѣ. Господствующая нынѣ система эстетическихъ понятій рѣшаетъ его такъ: прекрасное въ объективной дѣйствительности имѣть недостатки, уничтожающіе красоту его, и наша фантазія поэтому принуждена прекрасное, находимое въ объективной дѣйствительности, передѣльвать для того, чтобы, освободивъ его отъ недостатковъ, неразлучныхъ съ реальнымъ его существованіемъ, сдѣлать его истинно прекраснымъ. Фишеръ вполнѣ и рѣзче другихъ эстетиковъ входитъ въ анализъ недостатковъ объективнаго прекраснаго. Потому его анализъ и должно подвергнуть критикѣ. Для избѣжанія упрека въ томъ, что преднамѣренно смягчила я недостатки, выставляемые на видъ нѣмецкими эстетиками въ объективномъ прекрасномъ, я долженъ буквально привести здѣсь Фи-

шерову критику прекрасного въ дѣйствительности (Aesthetik, II. Theil, Seite 299 und folg.).

«Внутренняя несостоительность всей объективной формы существования прекрасного открывается въ томъ, что красота находится въ чрезвычайно шаткомъ отношеніи къ нынѣ исторического движенія даже и на томъ поприщѣ, где она кажется наиболѣе обезпеченнаю (т. е. въ человѣкѣ; историческая событія часто уничтожаютъ много прекраснаго; напримѣръ, говорить Фишеръ, реформація уничтожила веселую привольность и пестрое разнообразіе немецкой жизни XIII—XV столѣтій). Но вообще очевидно, что предполагаемая въ § 234 благосклонность случая рѣдко имѣть мѣсто въ дѣйствительности (§ 234 говорить: для бытія красоты необходимо, чтобы при осуществлѣніи прекраснаго не было вмѣшательства вредныхъ случайностей (*der störende Zufall*). Сущность случайности состоять въ томъ, что она можетъ быть и не быть или быть иначе, слѣдственно вредная случайность можетъ иногда и не быть въ предметѣ. Поэтому кажется, что вмѣстѣ съ безобразными индивидуумами должны быть и истинно-прекрасные). Кромѣ того именно по самой живости (*Lebendigkeit*), составляющей неотъемлемое преимущество прекраснаго въ дѣйствительности, красота его мимолетна; основаніе этой мимолетности въ томъ, что прекрасное въ дѣйствительности возникаетъ не изъ стремленія къ прекрасному; оно возникаетъ и существуетъ по общему стремленію природы къ жизни, при осуществлѣніи которого появляется только вслѣдствіе случайныхъ обстоятельствъ, а не какъ что-нибудь предначертанное (*alles Naturschöne nicht gewollt ist*). Проблески прекраснаго рѣдки въ исторіи; рѣдко впопыхъ прекрасное и въ природѣ вообще. Въ извѣстномъ своемъ письмѣ Рафаэль, жившій въ странѣ красоты, жалуется на *carentia di belle donne*; и не часто встрѣчаются въ Римѣ такія модели, какова была Витторія изъ Альбано во время Румора. «Послѣднее созданіе все выше и выше стремящейся природы—прекрасный человѣкъ. Правда, рѣдко создаетъ она его, потому что слишкомъ много условій, противодѣйствующихъ ея идеямъ» (Гете). Все живущее имѣть множество враговъ. Борьба съ ними можетъ быть возвышенной или комической; но рѣдки случаи, когда безобразное переходитъ въ комическое или возвышенное. Мы стоимъ среди жизни и ея безконечно разнообразныхъ отношеній. Потому прекрасное въ природѣ живо; но, находясь среди неисчислимо разнообразныхъ отношеній, оно подвергается столкновеніямъ, порчѣ со всѣхъ сторонъ; потому что природа заботится о всей массѣ предметовъ, а не объ одномъ отдельномъ предметѣ, ей нужно сохраненіе, а не собственно красота. Если такъ, то для природы нѣть потребности поддерживать прекраснѣмъ и то немногое прекрасное, которое она случайно производитъ: жизнь стремится впередъ, не заботясь о погибели образа, или сохраняетъ его только искаженными. «Природа борется изъ-за жизни и бытія, изъ-за сохраненія и размноженія своихъ произведений не заботясь о ихъ красотѣ или безобразіи. Форма, отъ рожденія предназначеннаго быть прекрасною, можетъ случаемъ повредиться въ какой-нибудь части; тотчасъ же страдаютъ отъ этого и другія части; потому что природѣ тогда бывають нужны силы для

возстановлениі поврежденной части, и она отнимаетъ ихъ у другихъ частей, что необходимо вредить имъ развитию. Существо становится уже не такимъ, какимъ должно было быть, а такимъ, какимъ можетъ быть» (Гете, въ примѣч. къ Дидро). Замѣтно или незамѣтно, повреждениія повторяются и увеличиваются, пока все существо разрушится. Мимолетность, непрочность—скорбная участъ всего прекраснаго въ природѣ. Нетолько прекрасное освѣщеніе пейзажа, но и цвѣтущая пора органической жизни—одно мгновеніе. «Говоря строго, можно сказать, что только въ продолженіе одного мгновенія прекрасенъ прекрасный человѣкъ».—«Чрезвычайно непродолжителенъ періодъ времени, въ теченіе котораго человѣческое тѣло можетъ называться прекраснымъ» (Гете). Правда, изъ увядшей красоты юности развивается высшая красота — красота характера, которую воззрѣніе замѣчаетъ въ чертахъ физиognоміи и въ поступкахъ. Но и эта красота мимолетна; потому что характеръ заботится о нравственныхъ цѣляхъ, а не о красотѣ фигуры и движеній при ихъ достижениі.. Въ одно время личность бываетъ исполнена сознаніемъ своей нравственной цѣли, является такъ, какъ есть, прекрасною въ глубочайшемъ смыслѣ слова; но въ другое время человѣкъ занятъ бываетъ чѣмъ-нибудь имѣющимъ только посредственную связь съ цѣлью жизни его, и при этомъ истинное содержаніе характера не проявляется въ выраженіи лица; иногда человѣкъ занятъ занимать дѣломъ, возлагаемымъ на него только житейской или жизненною необходимостью, и при этомъ всякое высшее выраженіе погребено подъ равнодушiemъ или скучкою, неохотою. Такъ бываетъ и во всѣхъ сферахъ природы, принадлежащихъ ли онѣ или нѣтъ къ нравственной области... Эта группа сражавшихся воиновъ располагается и движется, какъ будто бы воспламененная духомъ Марса; но чрезъ минуту она разсыпалась, движенія перестали быть прекрасны, лучшіе люди лежатъ ранеными или убиты: эти воины не *tableau vivant*, они думаютъ о битвѣ, а не о томъ, чтобы ихъ битва имѣла прекрасный видъ. Непреднамѣренность (*das Nichtgewolltsein*) сущность всего прекраснаго въ природѣ; она лежитъ въ его сущности до такой степени, что на насъ чрезвычайно непрѣятно дѣйствуетъ, если мы замѣчаемъ въ сферѣ реальнаго-прекраснаго какой бы то ни было преднамѣренный разсчетъ именно на красоту. Красота, сознающая свою красоту и занимающаяся ею, учащаяся предъ зеркаломъ быть прекрасною, суетна, т. е. ничтожна. Аффектація красоты въ дѣйствительно существующемъ совершенной противоположности истинной гарції... Случайность, непреднамѣренность красоты, ея незнаніе о самой себѣ—зерно смерти, но и прелестъ прекраснаго въ дѣйствительности; такъ что въ сознательной сфере прекрасное исчезаетъ въ ту минуту, какъ узнаетъ о своей красотѣ, начинаетъ любоваться на нее. Наивность простаго человѣка погибаетъ, какъ скоро ка-сается до него цивилизациі; народныя пѣсни исчезаютъ, когда обращаются на нихъ вниманіе, начинаютъ собирать ихъ; живописный костюмъ полудикихъ народовъ перестаетъ имъ нравиться, когда они видятъ кокетливый фракъ живописца, пришедшаго изучать ихъ; если цивилизациі, прельстившись живописнымъ нарядомъ, хочетъ сохранить его, онъ уже обратился въ маску, и народъ покидаетъ его.

«Но благопрѣятность случая не только рѣдка и мимолетна,— она вообще

должна считаться благопріятностью только относительною: вредная, искажающая случайность всегда оказывается въ природѣ не вполнѣ побѣжденной, если мы отбросимъ свѣтлую маску, накидываемую отдаленностью мѣста и времени на восприятие (Wahrnehmung) прекраснаго въ природѣ, и строже всмотримся въ предметъ; искажающая случайность вносить въ прекрасную, повидимому, группировку нѣсколькихъ предметовъ много такого, что вредить ея полной красотѣ; мало того, эта вредящая случайность вторгается и въ отдѣльный предметъ, который казался намъ сначала вполнѣ прекрасенъ, и мы видимъ, что ничто не изъято отъ ея владычества. Если мы сначала не замѣчили недостатковъ, это проистекало изъ другой благопріятности случая — изъ счастливаго расположения нашего духа, которое дѣлало субъектъ способнымъ видѣть предметъ съ точки зрѣнія чистой формы. Ближайшимъ образомъ такое расположение духа возбуждаетъ въ насъ самый предметъ своею относительною чистотою отъ искажающаго случая.

«Надобно только ближе посмотретьъ на прекрасное въ дѣйствительности, чтобы убѣдиться, что оно не истинно прекрасно: тогда будетъ ясно, что мы до сихъ порь только скрывали отъ себя очевидную истину. Эта истинѣ—необходимое и повсемѣстное владычество искажающаго случая. Не мы должны доказывать, что оно простирается рѣшительно на все, а нуждалась бы въ доказательствахъ противоположная мысль, нуждалось бы въ доказательствахъ мнѣніе, что, при безконечно-разнообразномъ и тѣсномъ спѣщеніи всего въ мірѣ, какой бы то ни было отдѣльный предметъ можетъ сохраниться въ цѣлости отъ всѣхъ препятствій, помѣхъ, искажающихъ столкновеній. Мы должны только изслѣдовать, откуда происходитъ обольщеніе, говорящее нашимъ чувствамъ, будто бы иные предметы составляютъ исключеніе изъ общаго закона подвластности искажающему случаю; это мы сдѣлаемъ впослѣдствии; а теперь покажемъ только, что видимыя исключенія изъ общаго правила дѣйствительности составляютъ обольщеніе, призракъ (ein Schein). Нѣкоторые прекрасные предметы составляютъ соединеніе многихъ предметовъ; въ этомъ случаѣ, всматриваясь внимательнѣе, мы всегда найдемъ во-первыхъ, что мы видимъ эти предметы въ такой связи, въ такомъ соотношеніи только потому, что случайно-стали на извѣстное мѣсто, случайно смотримъ на нихъ съ извѣстной точки зрѣнія. Особенно прилагается это къ ландшафтамъ: ихъ равнины, горы, деревья ничего не знаютъ другъ о другѣ; имъ не можетъ вздуматься соединиться въ живописное цѣлое; въ стройныхъ очеркахъ и краскахъ мы ихъ видимъ только потому, что сами стоимъ на томъ, а не на другомъ мѣстѣ. Но и съ этой благопріятной точки зрѣнія мы найдемъ здѣсь кустарникъ, тамъ холмъ, нарушающій гармонію; тутъ недостатокъ возвышенія, тамъ тѣни, и мы должны будемъ сознаться, что внутренній глазъ передѣльвалъ, дополнялъ, исправлялъ ландшафтъ. То же самое бываетъ и съ движущимся, дѣйствующимъ группою живыхъ существъ. Иногда сцена можетъ быть въ самомъ дѣлѣ полна значенія и выраженія, но въ ней группы, существенно связанныя, раздѣлены пространствомъ; внутренній глазъ опять уничтожаетъ его, сближаетъ связанное, выбрасываетъ ненужное, лишнѣе. Другие предметы прекрасны въ отдѣльности. Тогда мы отказываемся отъ красоты обстановки, выпускаемъ обстановку, изъ-

самаго возврѣнія, совершающій актъ отдыненія предмета отъ обстановки, большою частью безсознательно и безнамѣреніо; когда красавица входитъ въ общество, наши глаза устремляются исключительно на нее, мы забываемъ о другихъ лицахъ. Но и въ томъ и въ другомъ случаѣ, въ отдалѣнномъ ли предметѣ мы находимъ красоту, или въ сгруппировкѣ предметовъ, съдѣствіе будетъ одно и то же, если мы строже разсмотримъ красоту. На поверхности прекраснаго предмета мы откроемъ то же, что въ прекрасной сгруппировкѣ предметовъ: между прекрасными частями найдутся непрекрасные, и найдутся онѣ въ каждомъ предметѣ, какъ бы ни благопріятствовала ему счастливая случайность. Хорошо еще, что нашъ глазъ не микроскопъ, и простое зрѣніе уже идеализируетъ предметы; иначе грязь и инфузоріи въ чистѣйшей водѣ, нечистоты на нѣжнѣйшей кожѣ разрушали бы для насъ всякую красоту. Мы видимъ только при извѣстной степени отдаленія. А отдаленность идеализируетъ уже сама по себѣ. Она не только скрываетъ нечистоту поверхности, но и вообще слаживаетъ подробности состава тѣла, приковывающія ихъ къ землѣ, отнимаетъ пошлую ясность, точность, считающую песчинки, ставящую «каждое лыко въ строку». Такъ уже самый процессъ зрѣнія беретъ на себя часть труда возведенія предмета къ чистой формѣ. Отдаленность во времени дѣйствовать такъ же, какъ отдаленность въ пространствѣ: исторія и воспоминаніе передаютъ намъ не всѣ мелкія подробности о великому человѣкѣ или великому событии; они умалчиваютъ о мелкихъ второстепенныхъ мотивахъ великаго явленія, о его слабыхъ сторонахъ; они умалчиваютъ о томъ, сколько времени въ жизни великихъ людей было потрачено на одѣванье и раздѣванье, ёду, питье, на сморкѣ и т. п. Но мало того, что чрезъ это скрывается отъ насъ мелочное и мѣшающее красотѣ: при внимательномъ разсмотрѣніи даже въ прекраснѣшемъ, повидимому, предметѣ мы ясно замѣчаемъ очень много важныхъ и не важныхъ недостатковъ. Если бы, напр., въ человѣческой фигурѣ и не было отпечатлѣнія никакихъ искажающихъ случайностей на поверхности, то въ основныхъ формахъ непремѣнно замѣчается нами какое-нибудь нарушеніе пропорциональности. Это ясно будетъ, какъ только мы взглянемъ на гипсовую модель, въ точности снятую съ дѣйствительного лица. Руморъ, въ предисловіи къ своимъ «Итальянскимъ изслѣдованіямъ», чрезвычайно перепуталъ всѣ относящіяся сюда понятія: онъ хочетъ обличить ложность фальшиваго идеализма въ искусствѣ, стремящагося улучшать природу въ ея чистыхъ и постоянныхъ формахъ; онъ справедливо говорить противъ подобнаго идеализма, что искусство не можетъ передѣлывать неизмѣнныхъ формъ природы, которыя даются ему природою необходимо и неизмѣнно. Но вопросъ въ томъ, находятся ли въ дѣйствительности въ совершенно чистомъ развитіи основныя, ненарушимыя для искусства формы природы. Руморъ отвѣчаетъ на это, что «природа не отдалѣній предметъ, представляющійся намъ подъ владычествомъ случая, а совокупность всѣхъ живыхъ формъ, совокупность всего произведенаго природою, или, лучше сказать, сама производящая сила»—ей долженъ предаться художникъ, не довольствуясь отдалѣнными моделями. Это совершенно справедливо. Но Руморъ впадаетъ потомъ въ натурализмъ, который хочетъ пресловѣтывать, какъ и ложный идеализмъ; его положеніе, что «природа наилучшимъ

образомъ выражаетъ все своими формами», становится опаснымъ, когда онъ прилагаетъ его къ отдельному явлению, и, противорѣча тому, что самъ сказаъ выше, утверждаетъ, будто бы въ дѣйствительности бывають «совершенныя модели», какъ, напр., «Витторія изъ Альбано, которая была прекраснѣе всѣхъ созданій искусства въ Римѣ, красота которой была недосыгаема для художниковъ». Мы твердо убѣждены, что ни одинъ изъ художниковъ, бравшихъ ее моделью, не могъ перенести въ свое произведение всѣхъ ея формъ въ томъ видѣ, въ какомъ находилъ, потому что Витторія была отдельная красавица, а индивидуумъ не можетъ быть абсолютнымъ — этимъ дѣло решается, больше мы не хотимъ и говорить о вопросѣ, который предлагаетъ Руморъ. Если даже согласимся, что въ Витторіи были совершенны всѣ основныя формы, то кровь, теплота, процессъ жизни съ искасающими красоту подробностями, слѣды которыхъ остаются на кожѣ, всѣ эти подробности были бы достаточны, чтобы поставить живое существо, о которомъ говорить Руморъ, несравненно ниже тѣхъ высокихъ произведеній искусства, которыхъ имѣютъ только вображенную кровь, теплоту, процессъ жизни на кожѣ и т. д....

«Итакъ предметъ, принадлежащий къ рѣдкимъ явленіямъ красоты, какъ показываетъ ближайшее разсмотрѣніе, не истинно прекрасенъ, а только ближе другихъ къ прекрасному, свободнѣе отъ искасающихъ случайностей».

Прежде нежели подвергнемъ критикѣ отдельные упреки, дѣлаемые прекрасному въ дѣйствительности, смылѣ можно сказать, что оно истинно прекрасно и вполнѣ удовлетворяетъ здороваго человѣка, несмотря на всѣ свои недостатки, какъ бы ни были они велики. Конечно, праздная фантазія можетъ о всемъ говорить: «здѣсь это не такъ, этого недостаетъ, это лишнѣе»; но такое развитіе фантазіи, недовольствующейся ничѣмъ, надоѣно признать болѣзненнымъ явленіемъ. Здоровый человѣкъ встрѣчаетъ въ дѣйствительности очень много такихъ предметовъ и явлений, смотря на которые не приходить ему въ голову желать, чтобы они были не такъ, какъ есть, или были лучше. Мнѣніе, будто человѣку непремѣнно нужно «совершенство», — мнѣніе фантастическое, если подъ «совершенствомъ» понимать такой видъ предмета, который бы совмѣщалъ всѣ возможныя достоинства и быть чуждъ всѣхъ недостатковъ, какіе отъ нечего дѣлать можетъ отыскать въ предметѣ фантазія человѣка съ холоднымъ или пресыщеннымъ сердцемъ. «Совершенство» для меня то, что для меня вполнѣ удовлетворительно въ своемъ родѣ. А такихъ явлений видить здоровый человѣкъ въ дѣйствительности очень много. Когда у человѣка сердце пусто, онъ можетъ давать волю своему воображенію; но какъ скоро есть хотя сколько-нибудь удовлетворительная дѣйствительность, крылья фантазіи связаны. Фантазія вообще овладѣваетъ нами только тогда, когда мы слишкомъ скучны въ дѣйстви-

тельности. Лежа на голыхъ доскахъ, человѣку иногда приходить въ голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханного драгоцѣнного дерева, о пуховикѣ изъ гагачьяго пуха, о подушкахъ съ брабантскими кружевами, о пологѣ изъ какой-то невообразимой ліонской матеріи; но неужели станеть мечтать обо всемъ этомъ здоровый человѣкъ, когда у него есть не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель? «Отъ добра добра не ищутъ». Если человѣку пришлось жить среди сибирскихъ тундръ или въ заволжскихъ солончакахъ, онъ можетъ мечтать о волшебныхъ садахъ съ невиданными на землѣ деревьями, у которыхъ коралловыя вѣтви, изумрудные листья, рубиновые плоды; но переселившись въ какую-нибудь Курскую губернію, получивъ полную возможность гулять досыта по небогатому, но сносному саду съ яблонями, вишнями, грушами, мечтатель навѣрно забудеть не только о садахъ Тысячи и одной ночи, но и о лимонныхъ рощахъ Испаніи. Воображеніе строить свои воздушные замки тогда, когда нѣть на дѣлѣ не только хорошаго дома, даже сносной избушки. Оно разыгрывается тогда, когда незаняты чувства; бѣдность дѣйствительной жизни источникъ жизни въ фантазіи. Но едва дѣлается дѣйствительность сколько нибудь сносною, скучны и блѣди кажутся намъ предъ нею всѣ мечты воображенія. Мнѣнія, будто бы «желанія человѣческія беспредѣльны», должно въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимается обыкновенно, въ смыслѣ, что «никакая дѣйствительность не можетъ удовлетворить ихъ»; напротивъ, человѣкъ удовлетворяется не только «наилучшимъ, что можетъ быть въ дѣйствительности», но и довольно посредственною дѣйствительностью. Надобно различать то, что чувствуется на самомъ дѣлѣ, отъ того, что только говорится. Желанія раздражаются мечтательнымъ образомъ до горяччаго напряженія только при совершенномъ отсутствіи здоровой, хотя бы и довольно простой пищи. Это фактъ, доказываемый всей исторіей человѣчества и испытанный на себѣ всякимъ, кто жилъ и наблюдалъ себя. Онъ составляетъ частный случай общаго закона человѣческой жизни, что страсти достигаютъ ненормального развитія только вслѣдствіе ненормального положенія предающагося имъ человѣка, и только въ такомъ случаѣ, когда естественная и въ сущности довольно спокойная потребность изъ которой возникаетъ та или другая страсть, слишкомъ долго не находила себѣ соответственнаго удовлетворенія, спокойнаго и далеко не титани-

ческаго. Несомнѣнно то, что организмъ человѣка не требуетъ и не можетъ выносить титаническихъ стремленийъ и удовлетвореній; несомнѣнно и то, что въ здоровомъ человѣкѣ стремленія соразмѣрны съ силами организма. Съ этой общей точки перейдемъ на другую, специальную.

Извѣстно, что чувства наши скоро утомляются и пресыщаются, т. е. удовлетворяются. Это справедливо не только относительно низшихъ чувствъ (осзанія, обонянія, вкуса), но также и относительно высшихъ—зрѣнія и слуха. Съ чувствами зрѣнія и слуха неразрывно соединено эстетическое чувство, и не можетъ быть мыслимо безъ нихъ. Когда у человѣка отъ утомленія исчезаетъ охота смотрѣть на прекрасное, не можетъ не исчезать и потребность эстетического наслажденія этимъ прекраснымъ. И если человѣкъ не можетъ цѣлый мѣсяцъ ежедневно смотрѣть не утомляясь на картину, хотя бы Рафаэлевскую, то нѣтъ сомнѣнія, что не одни глаза его, но также и чувство эстетическое пресытилось, удовлетворено на иѣкоторое время. Что достовѣрно относительно продолжительности наслажденія, то же самое должно сказать и объ его интенсивности. При нормальному удовлетвореніи сила эстетического наслажденія имѣть свои предѣлы. Если она иногда переходитъ ихъ, это бываетъ слѣдствиемъ не внутренняго и натурального развитія, а особыхъ обстоятельствъ, болѣе или менѣе случайныхъ и ненормальныхъ (напр., мы особенно восторженно восхищаемся прекраснымъ, когда знаемъ, что скоро должны будемъ разстаться съ нимъ, что не будемъ имѣть столько времени наслаждаться имъ, сколько намъ хотѣлось бы и т. п.). Однимъ словомъ, нѣтъ, повидимому, возможности подвергать сомнѣнію фактъ, что наше эстетическое чувство, подобно всѣмъ другимъ, имѣть свои нормальные границы относительно продолжительности и интенсивности своего напряженного состоянія и что въ этихъ двухъ смыслахъ нельзя называть его ненасытнымъ или безконечнымъ.

Точно также оно имѣть границы—и довольно тѣсныя—относительно своей разборчивости, тонкости, требовательности или такъ называемой жажды совершенства. Мы будемъ впослѣдствіи имѣть случай говорить, какъ многое даже вовсе не первоклассное по красотѣ своей удовлетворяетъ эстетическому чувству въ дѣйствительности. Здѣсь мы хотимъ сказать, что и въ области искусства разборчивость его въ сущности очень снисходительна. За одно какое-нибудь достоинство мы прощаемъ произведению искусства сотни

недостатковъ; даже не замѣчаемъ ихъ, если только они не слишкомъ безобразны. Въ примѣръ довольно указать на большую часть произведеній римской поэзіи. Не восхищаться Горациемъ, Виргилемъ, Овидіемъ можетъ только тотъ, у кого недостаетъ эстетического чувства. А сколько въ этихъ поэтахъ слабыхъ сторонъ! Собственно говоря, все въ нихъ слабо, кромѣ одного—отдѣлки языка и развитія мыслей. Содержанія у нихъ или вовсе нѣтъ или оно самое ничтожное: самостоятельности нѣтъ; свѣжести нѣтъ; простоты нѣтъ; у Виргилія и Горациі почти нигдѣ нѣтъ даже искренности и увлеченія. Но пусть критика указываетъ намъ всѣ эти недостатки—съ тѣмъ вмѣстѣ она прибавляетъ, что форма у этихъ поэтовъ доведена до высокаго совершенства, и нашему эстетическому чувству довольно этой одной капли хорошаго, чтобы удовлетворяться и наслаждаться. А между тѣмъ даже и въ отдѣлкѣ формы у всѣхъ этихъ поэтовъ есть значительные недостатки: Овидій и Виргилій почти всегда растянуты; очень часто растянуты и Горациевы оды; монотонность во всѣхъ трехъ поэтахъ чрезвычайно велика; часто непріятнымъ образомъ бросается въ глаза искусственность, натянутость. Нужды нѣтъ, все-таки остается въ нихъ нѣчто хорошее, и мы наслаждаемся. Какъ совершенную противоположность этимъ поэтамъ вѣнѣней отдѣлки можно привести въ примѣръ народную поэзію. Какова бы ни была первоначальная форма народныхъ пѣсенъ, но до насъ доходить онѣ почти всегда исаженными, передѣланными или растерзанными на куски; монотонность ихъ также очень велика; наконецъ есть во всѣхъ народныхъ пѣсняхъ механические пріемы, проглядываютъ общія пружины, безъ помощи которыхъ никогда не развиваются онѣ своихъ темъ; но въ народной поэзіи очень много свѣжести, простоты,—и этого довольно для нашего эстетического чувства, чтобы восхищаться народною поэзіею.

Однимъ словомъ, какъ и всякое здоровое чувство, какъ всякая истинная потребность, эстетическое чувство имѣть больше стремленія удовлетворяться, нежели требовательности въ претензіяхъ; оно по своей натурѣ радуется удовлетворяясь, недовольно отсутствиемъ пищи, потому готово удовлетворяться первымъ сноснымъ предметомъ. Малотребовательность эстетического чувства доказывается и тѣмъ, что, имѣя первоклассныя произведенія, оно вовсе не пренебрегаетъ второклассными. Рафаэлевы картины не заставляютъ насъ находить плохими произведеніями Грѣза, имѣя Шекс-

пира, мы съ наслаждениемъ перечитываемъ произведенія второстепенныхъ, даже третье-степенныхъ поэты. Эстетическое чувство ищетъ хорошаго, а не фантастически-совершенного. Потому, если бы въ дѣйствительномъ прекрасномъ было очень много важныхъ недостатковъ, мы все-таки удовлетворялись бы имъ. Но посмотримъ ближе, до какой степени справедливы упреки, дѣлаемые прекрасному въ дѣйствительности, и до какой степени справедливы слѣдствія, изъ нихъ выводимыя.

I. «Прекрасное въ природѣ непреднамѣренно; уже по этому одному не можетъ быть оно такъ хорошо, какъ прекрасное въ искусствѣ, создаваемое преднамѣренно»—Дѣйствительно, неодушевленная природа не думаетъ о красотѣ своихъ произведеній, какъ дерево не думаетъ о томъ, чтобы его плоды были вкусны. Но тѣмъ не менѣе надобно признаться, что наше искусство до сихъ поръ не могло создать ничего подобнаго даже апельсину или яблоку, не говоря уже о роскошныхъ плодахъ тропическихъ земель. Конечно, преднамѣренное произведеніе будетъ по достоинству выше непреднамѣренного; но только тогда, когда силы производителей равны. А силы человѣка гораздо слабѣе силъ природы, работа его чрезвычайно груба, неловка, неуклюжа въ сравненіи съ работою природы. И потому въ произведеніяхъ искусства превосходство со стороны преднамѣренности перевѣшивается, и далеко перевѣшивается слабостью ихъ въ исполненіи. Притомъ же непреднамѣрена красота только въ природѣ безчувственной, мертвой: птица и животное уже заботятся о своей виѣшности, безпрестанно охорашиваются: почти всѣ они любятъ опрятность. Въ человѣкѣ красота рѣдко бываетъ совершенно непреднамѣреною: забота о своей наружности чрезвычайно сильна у всѣхъ насъ. Разумѣется, мы здѣсь говоримъ не объ изысканныхъ средствахъ подѣлывать красоту, а подразумѣваемъ постоянныя заботы о виѣшнемъ благообразіи, которая составляютъ часть народной гигиены. Но если красота въ природѣ въ строгомъ смыслѣ не можетъ называться преднамѣреною, какъ и все дѣйствованіе силъ природы; то съ другой стороны нельзя сказать, чтобы вообще природа не стремилась къ произведенію прекраснаго: напротивъ, понимая прекрасное какъ полноту жизни, мы должны будемъ признать, что стремленіе къ жизни, проникающее всю природу, есть вмѣстѣ и стремленіе къ произведенію прекраснаго. Если мы должны вообще видѣть въ природѣ не цѣли, а только резуль-

таты, и потому не можемъ назвать красоту цѣлью природы, то не можемъ не назвать ее существеннымъ результа томъ, къ произведению которого напряжены силы природы. Непреднамѣренность (*das Nichtgewolltsein*), безсознательность этого направлениія нисколько не мѣшаетъ его реальности, какъ безсознательность геометрическаго стремленія въ пчелѣ, безсознательность стремленія къ симметріи въ растительной силѣ, нисколько не мѣшаетъ правильности шестиугольного строенія ячеекъ сота, симметріи двухъ половинъ листа.

II. «Отъ непреднамѣренности красоты въ природѣ происходитъ то, что прекрасное рѣдко встречается въ дѣйствительности».—Но еслибы и дѣйствительно было такъ, его малочисленность была бы прискорбна только для нашего эстетического чувства, нисколько не уменьшая красоты этого малочисленнаго ряда явлений и предметовъ. Алмазы величиною въ голубиное яйцо попадаются очень рѣдко; любители брильянтовъ могутъ справедливо жалѣть о томъ, и все-таки они соглашаются, что эти очень рѣдкие алмазы прекрасны. Но жалобы на рѣдкость прекраснаго въ дѣйствительности не совершенно справедливы; несомнѣнно по крайней мѣрѣ, что прекраснаго въ дѣйствительности вовсе не такъ мало, какъ утверждаютъ немецкіе эстетики. Прекрасныхъ и величественныхъ пейзажей очень много; есть страны, въ которыхъ они попадаются на каждомъ шагу, напр., не говоря уже о Швейцаріи, Альпахъ, Италии, укажемъ на Финляндію, Крымъ, берега Днѣпра, даже берега Волги. Величественное въ жизни человѣка встречается не безпрестанно но сомнительно, согласился ли бы самъ человѣкъ, чтобы оно было чаще: великія минуты жизни слишкомъ дорого обходятся человѣку, слишкомъ истощаютъ его; а кто имѣеть потребность искать и силу выносить ихъ вліяніе на душу, тотъ можетъ найти случаи къ возвышеннымъ ощущеніямъ на каждомъ шагу: путь доблести, самоотверженія и высокой борьбы съ низкимъ и вреднымъ, съ бѣдствіями и пороками людей не закрыть никому и никогда. И были всегда, вездѣ тысячи людей, вся жизнь которыхъ была непрерывнымъ рядомъ возвышенныхъ чувствъ и дѣлъ. То же самое должно сказать и объ увлекательно-прекрасныхъ минутахъ въ жизни человѣка. Вообще нельзя человѣку жаловаться на ихъ рѣдкость; потому что отъ самого человѣка зависитъ, до какой степени жизнь его наполнена прекраснымъ и великимъ. Жизнь такъ широка и многостороння,

что въ ней человѣкъ почти всегда найдетъ досыта всего, искать чего чувствовать сильную и истинную потребность. Пуста и безцвѣтна бываетъ жизнь только у безцвѣтныхъ людей, которые толкуютъ о чувствахъ и потребностяхъ, на самомъ дѣлѣ не будучи способны имѣть никакихъ особыхъ чувствъ и потребностей, кроме потребности рисоваться. Это потому, что духъ, направление, колоритъ жизни человѣка придается ей характеромъ самого человѣка: отъ человѣка не зависятъ событія жизни, но духъ этихъ событій зависитъ отъ его характера. «На ловца звѣрь бѣжитъ». Въ заключеніе было бы надобно объясниться насчетъ того, что специально называется красотою, разсмотрѣть вопросъ о томъ, до какой степени рѣдкое явленіе женская красота. Но, быть можетъ, это не совсѣмъ умѣстно въ нашемъ отвлеченному трактатѣ; ограничимся только замѣчаніемъ, что почти всякая женщина въ цвѣтѣ молодости кажется большинству красавицею, потому говорить здѣсь было бы можно развѣ о неразборчивости эстетического чувства большинства людей, а не о томъ, что красота рѣдкое явленіе. Людей прекрасныхъ лицомъ нисколько не меныше, нежели людей добрыхъ, умныхъ и т. д. Какъ же объяснить жалобу Рафаэля на недостатокъ красавицъ въ Италии, классической странѣ красоты? Очень просто; онъ искалъ наилучшей красавицы, а наилучшая красавица конечно одна въ пѣломъ свѣтѣ—и гдѣ же отыскать ее? первостепенного въ своемъ родѣ всегда очень мало, по очень простой причинѣ: если его соберется много, то мы опять раздѣлимъ его на классы и будемъ называть первостепеннымъ то, чего найдется всего два-три индивидуума; все остальное назовемъ второстепеннымъ. И вообще надоѣло сказать, что мысль, будто бы «прекрасное рѣдко встрѣчается въ дѣйствительности» основана на смѣшнѣи понятій «вполнѣ» и «первое»: вполнѣ величественныхъ рѣкъ очень много, первая изъ величественныхъ рѣкъ конечно одна; великихъ полководцевъ много, первымъ полководцемъ въ мірѣ былъ кто-нибудь одинъ изъ нихъ. Обыкновенно думаютъ: если есть или можетъ быть предметъ X, выше находящагося у меня подъ глазами предмета A, то предметъ A низокъ; но такъ только думаютъ, не такъ чувствуютъ въ самомъ дѣлѣ, и, находя Миссисипи величественнѣе Волги, мы продолжаемъ однако считать и Волгу величественнѣе рѣкою. Обыкновенно говорится, что если одинъ предметъ больше другаго, то превосходство первого надъ вторымъ есть не-

достатокъ другаго: вовсе нѣтъ; въ дѣйствительности недостатокъ есть нѣчто положительное, а не нѣчто вытекающее изъ превосходства другихъ предметовъ. Рѣка, имѣющая одинъ футъ глубины въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, не потому считается мелкою, что есть рѣки гораздо глубже ея; она мелка безъ всякихъ сравненій, сама по себѣ, мелка потому, что неудобна для судоходства; каналъ, имѣющій тридцать футовъ глубины, не мелокъ въ дѣйствительной жизни, потому что совершенно удобенъ для судоходства; никому не придетъ и въ голову называть его мелкимъ, хотя всякому известно, что Па-де-Кале далеко превосходитъ его своею глубиною. Отвлеченнное математическое сравненіе не есть взглядъ дѣйствительной жизни. Потому, находя предметъ X прекраснѣе предмета A, мы въ дѣйствительной жизни нисколько не перестаемъ находить прекраснымъ предметъ A. Положимъ, что «Отелло» выше «Макбета», или «Макбетъ» выше «Отелло»—несмотря на превосходство одной изъ этихъ трагедій надъ другой, онѣ обѣ остаются прекрасными. Достоинства «Отелло» не могутъ быть вмѣняемы въ недостатки «Макбету» и наоборотъ. Такъ мы смотримъ на произведенія искусства. Если смотрѣть такъ же и на прекрасныя явленія дѣйствительности, то очень часто мы должны будемъ сознаться, что красота одного явленія безукоризненна, хотя красота другаго еще выше. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ кто-нибудь называетъ итальянскую природу не прекрасною, хотя природа Антильскихъ острововъ или Остъ-Индіи гораздо богаче? А только съ подобной точки зрѣнія, находящей себѣ подтвержденія въ дѣйствительныхъ чувствахъ и сужденіяхъ человѣка, и можетъ эстетика утверждать, будто бы въ мірѣ дѣйствительности красота есть явленіе рѣдкое.

III. «Красота прекраснаго въ дѣйствительности мимолетна»—согласимся; но развѣ отъ этого она менѣе прекрасна? И притомъ это не всегда справедливо: цвѣтокъ дѣйствительно увидаетъ скоро; но человѣкъ долго остается прекраснымъ; можно даже сказать, что человѣческая красота продолжается именно столько, сколько надоно человѣку, ею наслаждающемуся. Не совсѣмъ, быть можетъ, соотвѣтствовало бы характеру нашего отвлеченного трактата вдаваться въ подробное доказательство этого положенія; потому скажемъ только, что красота каждого поколѣнія существуетъ и должна существовать для этого самого поколѣнія; и нисколько не нарушаетъ гармоніи, нисколько не противно эстетическимъ потребностямъ этого поколѣнія,

если красота его увѣдаетъ вмѣстѣ съ нимъ—у послѣдующихъ будеть своя новая красота, и жаловаться тутъ некому и не на что. Быть можетъ неумѣстно было бы здѣсь также вдаваться въ подробнѣя доказательства того, что желаніе «не старѣть»—фантастическое желаніе, что на самомъ дѣлѣ пожилой человѣкъ и хочетъ быть пожилымъ человѣкомъ, если только его жизнь прошла нормальнымъ образомъ и если онъ не принадлежитъ къ числу людей поверхностиыхъ. Но это ясно и безъ подробнѣя доказательствъ. Всѣ мы «съ сожалѣніемъ» вспоминаемъ о дѣтствѣ, говоримъ иногда, что «хотѣли бы снова перенестись въ то счастливое время»; но едва ли кто-нибудь согласился бы на самомъ дѣлѣ превратиться въ ребенка. То же самое должно сказать и относительно сожалѣній о томъ, что «прошла красота нашей юности»—эти слова не имѣютъ реальнаго значенія, если юность прошла сколько-нибудь удовлетворительнымъ образомъ. Пережитое было бы скучно переживать вновь, какъ скучно слушать во второй разъ анекдотъ, хотя бы онъ казался чрезвычайно интересенъ въ первый разъ. Надобно различать дѣйствительныя желанія отъ фантастическихъ, мнимыхъ желаній, которыхъ вовсе и не хотять быть удовлетворенными; таково мнимое желаніе, чтобы красота въ дѣйствительности не увѣдала. «Жизнь стремится впередъ и уносить красоту дѣйствительности въ свое теченіе» говорятъ эстетики;—правда; но вмѣстѣ съ жизнью стремятся впередъ, т. е. измѣняются въ своемъ содержаніи, наши желанія, и следовательно фантастичны сожалѣнія о томъ, что прекрасное явленіе исчезаетъ—оно исчезаетъ исполнивъ свое дѣло, доставивъ нынѣ столько эстетического наслажденія, сколько могъ вмѣстить нынѣшній день; завтра будетъ новый день, съ новыми потребностями, и только новое прекрасное можетъ удовлетворить ихъ. Еслибы красота въ дѣйствительности была неподвижна и неизмѣнна, «бессмертна», какъ того требуютъ эстетики, она надоѣла бы, опротивъ бы намъ. Живой человѣкъ не любить неподвижнаго въ жизни; потому никогда не наглядится онъ на живую красоту, и очень скоро пропыщаетъ его *tableau vivant*, которую предпочитаютъ живымъ специальныя поклонники искусства. Но по ихъ мнѣнію красота должна быть однообразна въ своей вѣчности, не только вѣчна; потому противъ прекраснаго въ дѣйствительности является новое обвиненіе.

IV. «Прекрасное въ дѣйствительности непостоянно въ своей

«красотѣ—но на это надобно отвѣтить тѣмъ же самимъ вопросомъ, какъ и прежде:—развѣ это мѣшаетъ ему быть прекраснымъ по временамъ? Развѣ пейзажъ менѣе прекрасенъ поутру оттого, что красота его померкнетъ на время съ закатомъ солнца? И опять надобно сказать, что большою частью этотъ упрекъ несправедливъ; положимъ, что есть пейзажи, красота которыхъ пропадаетъ съ пурпурнымъ озаренiemъ утренней зари; но большая часть прекрасныхъ пейзажей прекрасны при всякомъ освѣщеніи; и надобно прибавить, что незавидна красота того пейзажа, который хорошъ только въ данную минуту, а не все время, пока существуетъ. «Иногда физiогномiя выражаетъ всю полноту жизни, иногда она не выражаетъ ничего»—нѣтъ; справедливо то, что иногда физiогномiя бываетъ чрезвычайно выразительна, иногда она гораздо менѣе выразительна; но чрезвычайно рѣдки минуты, когда физiогномiя человѣка, свѣтящаяся умомъ или добротою, бываетъ лишея выраженія: умное лицо и во время сна сохраняетъ выраженіе ума, добреое лицо сохраняетъ и во снѣ выраженіе доброты; а бѣглое разнообразіе выраженія въ лицѣ выразительномъ придаетъ ему новую красоту. Точно такъ же разнообразіе позъ придаетъ новую красоту живому существу. Очень часто бываетъ и то, что исчезновеніе прекрасной позы одно только и спасаетъ ея драгоценность для насъ: «группа сражавшихся воиновъ прекрасна; но чрезъ нѣсколько минутъ она уже разстроилась,—а что было бы, еслибы она не разстроилась еслибы схватка атлетовъ продолжалась цѣлые сутки? намъ наскучило бы смотрѣть, и мы отвернулись бы, какъ это впрочемъ бываетъ часто въ дѣйствительности. Чѣмъ обыкновенно кончается эстетическое впечатлѣніе, подъ вліяніемъ котораго держитъ насъ полчаса или часъ неподвижная «вѣчно прекрасная», «вѣчно неизмѣнная въ красотѣ своей» картина—тѣмъ, что мы уходимъ сами, недождавшись, пока насъ «оторветъ отъ наслажденія» мракъ вечера.

V. «Прекрасное въ дѣйствительности прекрасно только потому, что мы смотримъ на него съ такой точки зрѣнія, съ которой оно кажется прекраснымъ».—Напротивъ, гораздо чаще случается, что прекрасное прекрасно со всѣхъ точекъ зрѣнія, такъ, напр., прекрасный пейзажъ бываетъ большою частью хорошъ, откуда бы ни смотрѣли мы на него,—конечно, онъ бываетъ въ высшей степени хорошъ только съ одной точки зрѣнія—но что же изъ этого? и на произведенія живописи надобно смотрѣть съ извѣстнаго мѣста,

для того, чтобы они представлялись намъ во всей своей красотѣ. Это слѣдствіе законовъ перспективы, которые одинаково должны быть соблюдаены при наслажденіи прекраснымъ въ дѣйствительности и прекраснымъ въ искусствѣ.

Вообще надобно, кажется, сказать, что всѣ разсмотрѣнные упреки прекрасному въ дѣйствительности преувеличены, а нѣкоторые совершенно несправедливы; что нѣть изъ нихъ ни одного, который прилагался бы ко всѣмъ родамъ прекраснаго. Но нами не разсмотрѣны еще главнѣйшия, существеннѣйшия недостатки, открываемые господствующими эстетическими воззрѣніями въ прекрасномъ дѣйствительного міра. До сихъ поръ упреки были обращены на то, что прекрасное въ дѣйствительности неудовлетворительно для человѣка; теперь слѣдуютъ прямыя доказательства, что прекрасное въ дѣйствительности, собственно говоря, не можетъ и называться прекраснымъ. Доказательствъ этихъ три. Пересмотримъ ихъ, начиная съ менѣе сильного и менѣе общаго.

VI. «Прекрасное въ дѣйствительности или группа предметовъ (пейзажъ, группа людей), или одинъ предметъ въ отдѣльности. Вредная случайность всегда портить въ дѣйствительности группу, кажущуюся прекрасной, внося въ нее посторонніе, ненужные предметы, мѣшающіе красотѣ и единству цѣлого; она портить и кажущійся прекраснымъ отдѣльный предметъ, портя нѣкоторыя его части: внимательное разсмотрѣніе покажетъ намъ всегда, что нѣкоторыя части дѣйствительного предмета, представляющагося прекраснымъ, вовсе не прекрасны».—Здѣсь мы опять встрѣчаемся съ мыслью, что красота есть совершенство. Но эта мысль только частное приложеніе общей мысли, что человѣкъ удовлетворяется вообще только математически совершеннымъ: нѣть, практическая жизнь человѣка убѣждаетъ насъ, что онъ ищетъ только приблизительнаго совершенства, которое, выражаясь строго, и не должно называться совершенствомъ. Человѣкъ только ищетъ хорошаго, а не совершеннаго. Совершенства требуетъ только чистая математика; даже прикладная математика довольствуется приблизительными вычисленіями. Искать совершенства въ какой бы то ни было сферѣ жизни—дѣло отвлеченої, болѣзненной или праздной фантазіи. Мы хотимъ дышать чистымъ воздухомъ; но замѣчаемъ ли мы, что абсолютна чистъ воздухъ не бываетъ нигдѣ и никогда? Мы хотимъ пить чистую воду, но не абсолютно чистую воду: совершенно чи-

стая (дистиллированная) вода даже непрятна для вкуса. Эти примеры слишкомъ материальны? Приведемъ другіе: развѣ кому приходила мысль называть неученымъ человѣка, которому не вѣдь известно? Нѣтъ, мы и не ищемъ человѣка, которому было бы известно вѣсе; мы требуемъ отъ ученаго только того, чтобы ему было известно все существенное и чтобы ему было известно очень многое. Развѣ мы недовольны, напр., историческою книгою, въ которой не вѣдь решительно вопросы объяснены, не вѣдь решительно подробности приведены, не вѣдь до одного взгляда и слова автора абсолютно справедливы? нѣтъ, мы довольны, и чрезвычайно довольны книгою, когда въ ней разрѣшены гла в и ы е вопросы, приведены самонужнѣшія подробности, когда гла в и я миѣнія автора справедливы, и въ книгѣ его очень мало невѣрныхъ или неудачныхъ объясненій. (Ниже мы увидимъ, что въ сферѣ искусства мы также довольствуемся приблизительнымъ совершенствомъ). Послѣ этихъ указаній можно сказать, не боясь сильного противорѣчія, что и въ области прекраснаго дѣйствительной жизни мы довольствуемся тѣмъ, когда находимъ очень хорошее, но не ищемъ совершенства математическаго, изъятаго отъ всѣхъ мелкихъ недостатковъ. Неужели кому-нибудь вздумается говорить, что пейзажъ не прекрасенъ, если на какомъ-нибудь мѣстѣ его ростуть три куста, а лучше было бы, еслибы росло два или четыре? Вѣроятно никому еще изъ людей, любовавшихся моремъ, не приходило въ голову, что море могло бы быть лучше, нежели оно есть; а если математически строго смотрѣть на море, то въ немъ дѣйствительно есть недостатки; и первый недостатокъ—оно не плоская, а выпуклая поверхность. Правда, этого недостатка не видно, его открываетъ не глазъ, а вычисление; можно поэтому прибавить, что смѣшино и говорить объ этомъ недостаткѣ, котораго невозможно замѣтить, о которомъ можно только знатъ—но таковы большую частью недостатки прекраснаго въ дѣйствительности: ихъ не видно, они нечувствительны, они открываются только изслѣдованиемъ, а не возврѣнію. Не забудемъ же, что чувство прекраснаго имѣть дѣло съ возврѣніемъ, а не съ наукой: что нечувствительно, то не существуетъ для эстетического чувства. Но въ самомъ ли дѣлѣ недостатки прекраснаго въ дѣйствительности большую частью нечувствительны для возврѣнія? Въ этомъ убѣждаетъ насть опытъ. Нѣтъ человѣка, одареннаго эстетическимъ чувствомъ, которому бы не встрѣчались

въ дѣйствительности тысячи лицъ, явленій и предметовъ, казавшихся ему безукоризненно прекрасными. Но что же особенно важного, когда въ прекрасномъ предметѣ и замѣты для воззрѣнія недостатки? Вѣрно они слишкомъ неважны, если, несмотря на нихъ, предметъ продолжаетъ казаться прекраснымъ—если они важны, предметъ будетъ уродливъ, а не прекрасенъ. А не важное не стоитъ того, чтобы и говорить о чёмъ. И дѣйствительно, эстетически здоровый человѣкъ не обращаетъ на него вниманія.—Человѣку, не приготовленному специальнымъ изученіемъ новѣйшей эстетики, странно будетъ услышать второе доказательство, приводимое въ подтвержденіе того, что такъ называемое прекрасное въ дѣйствительности не можетъ быть прекрасно въ полномъ смыслѣ слова.

VII. «Дѣйствительный предметъ не можетъ быть прекрасенъ уже потому, что онъ живой предметъ, въ которомъ совершаются дѣйствительный процессъ жизни со всею своею грубостью, со всѣми своими антиэстетическими подробностями».—Едвали можно себѣ представить высшую степень фантастического идеализма. Какъ, неужели живое лицо не прекрасно, а изображенное на портретѣ или снятное въ dagерротипѣ прекрасно? и почему же? потому, что на живомъ лицѣ неизбѣжно бываютъ всегда матеръяльные слѣды процесса жизни; потому, что, если мы посмотримъ въ микроскопъ на живое лицо, то всегда увидимъ его покрытое испариною и т. п. Какъ, живое дерево не можетъ быть прекраснымъ, потому, что на немъ всегда гнѣздятся мелкія насекомыя, питающіяся его листьями? Странное мнѣніе, которое даже не требуетъ опроверженія: какое же дѣло моему эстетическому воззрѣнію до того, чего оно не замѣчаетъ? можетъ ли производить какое-нибудь вліяніе на мое ощущеніе тотъ недостатокъ, котораго оно не чувствуетъ? Въ опроверженіе этого мнѣнія не нужно даже приводить истину, что странно искать такихъ людей, которые бы не пили, не ъли, не имѣли надобности умываться и перемѣнять бѣлье. Распространяться о подобныхъ требованіяхъ совершенно бесполезно. Лучше разсмотримъ одну изъ тѣхъ идей, иль которыхъ возникъ столь странный упрекъ прекрасному въ дѣйствительности, идею составляющую одно изъ основныхъ воззрѣній господствующей эстетики. Вотъ эта мысль: «Прекрасное есть не самый предметъ, а чистая поверхность, чистая форма (*die reine Oberflâche*) предмета». Неосновательность этого взгляда на прекрасное обнаружится, когда мы пересмотримъ источ-

ники, изъ которыхъ оно произошло. Прекрасное чаше всего мы видимъ глазами; а глаза конечно видятъ только оболочку, аbrisъ, наружность предмета, а не внутреннее его сложеніе. Изъ этого легко вывести заключеніе, что прекрасное есть поверхность предмета, а не самъ предметъ. Но впервыхъ, кромъ прекраснаго для зрѣнія есть прекрасное для слуха (пѣніе и музыка), въ которомъ нельзя говорить ни о какой поверхности. Во вторыхъ, не всегда по глазами видимъ мы только оболочку предмета: въ прозрачныхъ предметахъ мы видимъ въ сѧ предметъ, все его внутреннее сложеніе; водѣ и драгоценнымъ камнямъ именно прозрачность и сообщаетъ красоту. Наконецъ человѣческое тѣло, лучшая красота на землѣ, полупрозрачно, и мы въ человѣкѣ видимъ не чисто одну только поверхность: сквозь кожу просвѣчиваетъ тѣло, и это просвѣчиваніе тѣла придаетъ чрезвычайно много прелести человѣческой красоты. Въ третьихъ, странно говорить, что и въ совершеніи непрозрачныхъ тѣлахъ мы видимъ только поверхность, а не самъ предметъ: возрѣніе принадлежитъ не исключительно глазамъ, извѣстно, что въ немъ всегда участвуетъ припоминающій и соображающій разсудокъ; соображеніе всегда наполняетъ матеріей пустую форму, представляющуюся глазу. Человѣкъ видить движущійся предметъ, хотя органъ его глаза самъ по себѣ не видитъ движенія; человѣкъ видить отдаленность предмета, хотя самъ по себѣ глазъ не видитъ отдаленія; такъ точно человѣкъ видить матеріальный предметъ, хотя глазъ его видить только пустую, нематеріальную отвлеченную поверхность предмета. Другое основаніе для мысли: «прекрасное есть чистая поверхность» состоить въ предположеніи, что эстетическое наслажденіе несомнѣнно съ матеріальнымъ интересомъ, принимаемымъ въ предметѣ. Не будемъ входить въ разсмотрѣніе того, какимъ образомъ надоѣно понимать отношеніе матеріальной интересности для насть предмета и эстетического наслажденія имъ, хотя это изслѣдованіе привело бы къ убѣждѣнію, что эстетическое наслажденіе отлично отъ матеріального интереса или практическаго взгляда на предметъ, но не противоположно ему. Довольно будетъ указать на свидѣтельство опыта, что и дѣйствительный предметъ можетъ казаться прекраснымъ не возбуждая матеріального интереса: какая же своеобразная мысль пробуждается въ насть, когда мы любуемся звѣздами, моремъ, лѣсомъ (неужели при взглядѣ на дѣйствительный лѣсъ я необходимо долженъ ду-

мать, годится ли онъ меѣ на постройку или отопленіе дома?);— какая своекорыстная мысль пробуждается въ насъ, когда мы заслушиваемся шелеста листьевъ, пѣсни соловья? Что касается человѣка, мы часто любимъ его безъ всякихъ своекорыстныхъ побужденій, нисколько не думая о себѣ; тѣмъ скорѣе можетъ онъ эстетически нравиться намъ, не возбуждая материальнаго (*stoffartig*) раздумья о нашихъ отношеніяхъ къ нему. Наконецъ ближайшимъ образомъ мысль о томъ, что прекрасное есть чистая форма, вытекаетъ изъ понятія, что прекрасное есть чистый призракъ; а такое понятіе— необходимое слѣдствіе опредѣленія прекраснаго какъ полноты осуществленія идеи въ отдѣльномъ предметѣ, и падаетъ вмѣстѣ съ этимъ опредѣленіемъ.

Послѣ длиннаго ряда упрековъ прекрасному въ дѣйствительности, становившихся все общѣ и сильнѣе, мы доходимъ теперь до послѣдней, самой сильной и самой общей причины, почему реальное прекрасное не можетъ быть считаемо дѣйствительно прекраснымъ.

VIII. «Отдѣльный предметъ не можетъ быть прекрасенъ уже потому, что онъ не абсолютенъ; а прекрасное есть абсолютное».— Доказательство дѣйствительно неопровергнутое въ кругу понятій философскихъ школъ, породившихъ его и принимающихъ мѣриломъ не только теоретической истины, но и дѣятельныхъ стремлений человѣка абсолютное. Но эти системы уже распались, уступивъ мѣсто другимъ, развившимся изъ нихъ по силѣ внутренняго діалектическаго процесса, но понимающимъ жизнь совершенно иначе. Ограничиваюсь этимъ указаниемъ на философскую несостоятельность воззрѣнія, изъ которого произошло подведеніе всѣхъ человѣческихъ стремлений подъ абсолютъ, станемъ для нашей критики на другую точку зренія, болѣе близкую къ чисто эстетическимъ понятіямъ, и скажемъ, что вообще дѣятельность человѣка не стремится къ абсолютному, и ничего не знаетъ о немъ, имѣя въ виду различныя чисто человѣческія цѣли, Въ этомъ совершенно сходны съ другимъ чувствами и дѣятельностями человѣка чувство и дѣятельность эстетическая. Въ дѣйствительности мы не встрѣчаемъ ничего абсолютнаго; потому не можемъ сказать по опыту, какое впечатлѣніе произвела бы на насъ абсолютная красота; но то мы знаемъ, по крайней мѣрѣ, изъ опыта, что *similis simil gaudet*, что поэтому намъ, существамъ индивидуальнымъ, не могущимъ перейти за гра-

ници нашей индивидуальности, очень нравится индивидуальность, очень нравится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности. Послѣ этого дальнѣйшія опроверженія излишни. Надобно только прибавить, что мысль объ индивидуальности истинной красоты развита тою же системою эстетическихъ воззрѣній, которая поставляетъ мѣриломъ прекраснаго абсолюта. Изъ мысли о томъ, что индивидуальность существенѣйшій признакъ прекраснаго, само собою вытекаетъ положеніе, что мѣрило абсолютнаго чуждо области прекраснаго—выводъ противорѣчашій основному воззрѣнію этой системы на прекрасное. Источникъ подобныхъ противорѣчій, не всегда избѣгаемыхъ системою, о которой мы говоримъ,—смѣшеніе въ ней гениальныхъ выводовъ изъ опыта и столько же гениальныхъ, но страждующихъ внутреннею несостоятельностью попытокъ подчинить всѣ ихъaprористическому взгляду, который часто противорѣчитъ имъ.

Теперь просмотрѣны всѣ упреки, болѣе или менѣе несправедливо дѣлаемые прекрасному въ дѣйствительности, и можно приступить къ решенію вопроса о существенномъ значеніи искусства. По господствующимъ эстетическимъ понятіямъ, «искусство имѣть своимъ источникомъ стремленіе человѣка освободить прекрасное отъ недостатковъ (наши разсмотрѣнія), мѣшающихъ прекрасному на степени своего реального существованія въ дѣйствительности быть вполнѣ удовлетворительнымъ для человѣка. Прекрасное, создаваемое искусствомъ, свободно отъ недостатковъ прекраснаго въ дѣйствительности». Посмотримъ же, до какой степени на самомъ дѣлѣ прекрасное, создаваемое искусствомъ, выше прекраснаго въ дѣйствительности по свободности своей отъ упрековъ, взводимыхъ на это послѣднее: послѣ того намъ легко будетъ рѣшить, вѣрно ли опредѣляется господствующимъ воззрѣніемъ происхожденіе искусства и его отношеніе къ живой дѣйствительности.

I. «Прекрасное въ природѣ не преднамѣренно». — Прекрасное въ искусствѣ бываетъ преднамѣрено, это правда; но во всѣхъ ли случаяхъ и во всѣхъ ли подробностяхъ? Не будемъ говорить о томъ, часто ли, и въ какой степени художникъ и поэтъ ясно понимаютъ, что именно выражается въ ихъ произведеніи — безсознательность художническаго дѣйствованія давно уже стала общимъ мѣстомъ, о которомъ все толкуютъ; быть можетъ нужнѣе нынѣ прѣзко выставлять на видъ зависимость красоты произведенія отъ

сознательныхъ стремленийъ художника, нежели распространяться о томъ, что произведенія истинно творческаго таланта имѣютъ всегда очень много непреднамѣренности, инстинктивности. Какъ бы то ни было, обѣ эти точки зрѣнія извѣстны, и безполезно здѣсь останавливаться на нихъ. Но можетъ быть не излишне сказать, что и преднамѣренная стремленія художника (особенно поэта) не всегда даютъ право сказать, чтобы забота о прекрасномъ была истиннымъ источникомъ его художественныхъ произведеній; правда, поэтъ всегда старается «сдѣлать какъ можно лучше»; но это еще не значитъ, чтобы вся его воля и соображенія управлялись исключительно или даже преимущественно заботою о художественности или эстетическомъ достоинствѣ произведенія: какъ у природы есть много стремленийъ, находящихся между собою въ борьбѣ и губящихъ или искажающихъ своюю борьбою красоту; такъ и въ художникѣ, въ поэты есть много стремленийъ, которыхъ своимъ вліяніемъ на его стремленіе къ прекрасному искажаютъ красоту его произведенія. Сюда вонпервыхъ принадлежать различныя житейскія стремленія и потребности художника, не позволяющія ему быть только художникомъ и болѣеничѣмъ, вовторыхъ, его умственные и нравственные взгляды, также не позволяющіе ему думать при исполненіи исключительно только о красотѣ; въ третьихъ наконецъ, идея художественного созданія является у художника обыкновенно не вслѣдствіе одного только стремленія создать прекрасное: поэтъ, достойный своего имени, обыкновенно хочетъ въ своемъ произведеніи передать намъ свои мысли, свои взгляды, свои чувства, а не исключительно только созданную имъ красоту. Однимъ словомъ, если красота въ дѣйствительности развивается въ борьбѣ съ другими стремленіями природы, то и въ искусствѣ красота развивается также въ борьбѣ съ другими стремленіями и потребностями человѣка, ее создающаго; если въ дѣйствительности эта борьба портить или губить красоту, то едвали меныше шансовъ, что она испортить или погубить ее въ произведеніи искусства; если въ дѣйствительности прекрасное развивается подъ вліяніями, ему чуждыми, недопускающими его быть только прекраснымъ, то и созданіе художника или поэта развивается подъ множествомъ различныхъ стремленийъ, результатъ которыхъ долженъ быть таковъ же. Мы готовы однакоже согласиться, что преднамѣренности больше въ прекрасныхъ произведеніяхъ искусства, нежели въ прекрасныхъ

созданіяхъ природы, и что въ этомъ отношеніи искусство стояло бы выше природы, еслибъ его преднамѣренность была свободна отъ недостатковъ, отъ которыхъ свободна природа. Но выигрывая преднамѣренностью съ одной стороны, искусство проигрываетъ тѣмъ же самыми съ другой; дѣло въ томъ, что художникъ, задумывая прекрасное, очень часто задумываетъ вовсе не прекрасное: мало—хотѣть прекраснаго, надоно умѣть постигать его въ его истинной красотѣ—а какъ часто художники заблуждаются въ своихъ понятіяхъ о красотѣ! какъ часто обманываетъ ихъ даже художническій инстинктъ, не только рефлексивныя понятія, большею частью одностороннія! Всѣ недостатки индивидуальности неразлучны въ искусствѣ съ преднамѣренностью.

II. «Прекрасное рѣдко встрѣчается въ дѣйствительности»;—но развѣ чаще оно встрѣчается въ искусствѣ? Сколько ежедневно бываетъ истинно трагическихъ или драматическихъ событий! А много ли насчитывается истинно прекрасныхъ трагедій или драмъ? во всѣхъ западныхъ литературахъ три-четыре десятка, въ русской—если не ошибаемся, кроме Бориса Годунова и Сцены изъ рыцарскихъ временъ—ни одной, которая стояла бы выше посредственности. Сколько романовъ совершаются въ дѣйствительности! А много ли насчитывается истинно прекрасныхъ романовъ? можетъ быть по нѣсколько десятковъ въ англійской и французской литературахъ, и пять-шесть въ русской. Что скорѣе можно встрѣтить: прекрасный пейзажъ въ природѣ, или въ живописи?—Почему же такъ? Потому, что великихъ поэтовъ и художниковъ очень мало, какъ и вообще мало гениальныхъ людей во всякомъ родѣ. Если рѣдко бываетъ въ дѣйствительности совершенно благопріятный случай для созданія прекраснаго или возвышеннаго, то еще рѣже благопріятный случай рожденія и безпрепятственнаго развитія великаго гenія, потому что здѣсь нужно стеченіе гораздо большаго числа благопріятныхъ условій. Этотъ упрекъ противъ дѣйствительности еще съ большею силой падаетъ на искусство.

III. «Прекрасное въ природѣ мимолетно»;—въ искусствѣ оно часто бываетъ вѣчно, это правда; но не всегда, потому что и произведеніе искусства подвержено погибели и порчу отъ случая. Греческіе лирики погибли для наскъ; погибли картины Апеллеса и статуи Лизиппа. Но не станавливаясь на этомъ, перейдемъ къ другимъ причинамъ невѣчности очень многихъ произведеній искус-

ства, отъ которыхъ свободно прекрасное въ природѣ—это мода и обветшаніе материала. Природа не старѣеть, вмѣсто увядшихъ произведеній своихъ она рождаетъ новыя; искусство лишено этой вѣчной способности воспроизведенія, возобновленія, а между тѣмъ время не безъ слѣда проходитъ и надъ его созданіями. Въ произведеніяхъ поэзіи скоро старѣеть языкъ, и мы по этой одной причинѣ не можемъ наслаждаться Шекспиромъ, Данте, Вольфрамомъ такъ свободно, какъ наслаждались ихъ современники. Еще гораздо важнѣе то, что съ теченіемъ времени многое въ произведеніяхъ поэзіи дѣлается непонятнымъ для нась (мысли и обороты, заимствованные отъ современныхъ обстоятельствъ, намеки на событія и лица); многое становится безцвѣтно и безвкусно; ученыe комментаріи не могутъ сдѣлать для потомковъ всего столь же яснымъ и живымъ, какъ все было ясно для современниковъ; притомъ ученыe комментаріи и эстетическое наслажденіе—противоположныя вещи; не говоримъ уже, что черезъ нихъ произведеніе поэзіи перестаетъ быть общедоступнымъ. Еще важнѣе то, что развитіе цивилизациіи, измѣненіе понятій иногда совлекаетъ всю красоту съ произведенія поэзіи, иногда превращаетъ его даже въ нечто непріятное или отвратительное. Примѣровъ не хотимъ указывать, кроме эклогъ Вергилия, скромнѣйшаго изъ римскихъ поэтовъ. Отъ поэзіи переходимъ къ другимъ искусствамъ. Произведенія музыки погибаютъ вмѣстѣ съ тѣми инструментами, для которыхъ были писаны. Вся древняя музыка погибла для нась. Красота старыхъ музыкальныхъ произведеній блѣднѣеть съ усовершенствованіемъ оркестровки. Краски въ живописи очень скоро линяютъ и чернѣютъ; картины XVI—XVII вѣка уже давно потеряли свою первобытную красоту. Какъ ни сильно вліяніе всѣхъ этихъ обстоятельствъ, не въ нихъ однакоже главная причина мимолетности произведеній искусства—она заключается во вліяніи на нихъ вкуса эпохи, почти всегда вліяніе моднаго настроенія, односторонняго и очень часто фальшиваго. Мода сдѣлала половину каждой драмы Шекспира негодною для эстетического наслажденія въ наше время; мода, отразившаяся на трагедіяхъ Расина и Корнеля, заставляетъ нась не столько наслаждаться ими, сколько подсмѣиваться надъ ними. Ни въ живописи, ни въ музыкѣ, ни въ архитектурѣ не найдется почти ни одного произведенія, созданного за 100 или 150 лѣть, которое не казалось бы нынѣ или вялымъ, или смѣшнымъ, несмотря на всю

силу гenия, отпечатлённую на немъ. И современное искусство через пятьдесят лѣтъ будетъ часто вызывать улыбку.

IV. «Прекрасное въ дѣйствительности непостоянно въ своей красотѣ». — Это правда; но прекрасное въ искусствѣ мертвенно-неподвижно въ своей красотѣ, это гораздо хуже. На живое лицо можно смотрѣть по нѣскольку часовъ; картина надобдается чрезъ четверть часа, и рѣдки примѣры дилеттантовъ, которые устояли бы часъ предъ картиною. Произведенія поэзіи живѣе, нежели произведенія живописи, архитектуры и ваянія; но и они пресыщаются насы довольно скоро: конечно не найдется человѣка, который бы былъ въ состояніи перечитать романъ пять разъ сряду; между тѣмъ жизнь, живыя лица и дѣйствительные события увлекательны своимъ разнообразiemъ.

V. «Красота въ природу вносится только тѣмъ, что мы смотримъ на нее съ той, а не съ другой точки зренія»—мысль, почти никогда не бывающая справедливою; но къ произведеніямъ искусства она почти всегда прилагается. Всѣ произведенія искусства не нашей эпохи и не нашей цивилизациіи непремѣнно требуютъ, чтобы мы перенеслись въ ту эпоху, въ ту цивилизацию, которая создала ихъ; иначе они покажутся намъ непонятными, странными, но не прекрасными. Если мы не перенесемся въ древнюю Грецію, пѣсни Сафо и Анакреона покажутся намъ выраженіемъ антиэстетического наслажденія, чѣмъ-то похожимъ на тѣ произведенія нашего времени, которыхъ стыдится печать; если мы не перенесемся мыслью въ патріархальное общество, пѣсни Гомера будутъ оскорблять насъ цинизмомъ, грубымъ обжорствомъ, отсутствиемъ нравственного чувства. Но греческій міръ слишкомъ далекъ отъ насъ; возьмемъ ближайшую эпоху. Сколько у Шекспира, у итальянскихъ живописцевъ такого, что понимается и цѣнится только тогда, когда мы перенесемся въ прошедшее съ его понятіями о вещахъ! Представимъ примѣръ еще ближе къ нашему времени: «Фаустъ» Гёте покажется страннымъ произведеніемъ человѣку, не способному перенестись въ ту эпоху стремленій и сомнѣній, выражениемъ которой служить «Фаустъ».

VI. «Прекрасное въ дѣйствительности заключаетъ въ себѣ много непрекрасныхъ частей или подробностей».—А въ искусствѣ развѣ не то же самое, только въ гораздо большей степени? укажите произведеніе искусства, въ которомъ нельзя было бы найти недостат-

ковъ. Романы Вальтеръ-Скотта слишкомъ растянуты, романы Диккенса почти постоянно приторно-сантиментальны и очень часто растянуты, романы Теккерея иногда (или, лучше сказать, очень часто) надѣдаются своею постоянною претензією на иронически-злое простодушіе. Но гени новѣйшіе рѣдко являются путеводителями въ эстетикѣ; она преимущественно любить Гомера, греческихъ трагиковъ и Шекспира. Гомеровы поэмы безсвязны: Эсхилъ и Софокль слишкомъ суровы и сухи, у Эсхила кромѣ того недостаетъ драматизма; Эврипидъ иллюстрируетъ; Шекспиръ, реториченъ и напыщенъ; художественное построение драмъ его было бы вполнѣ хорошо, если бъ ихъ нѣсколько передѣлать, какъ и предлагаетъ Гёте. Переидемъ къ живописи, и должны будемъ признаться въ томъ же самомъ: противъ одного Рафаэля рѣдко возвышаются голосъ; во всѣхъ остальныхъ живописцахъ давно открыто множество слабыхъ сторонъ. Но самого Рафаэля упрекаютъ въ незнаніи анатоміи. О музыкѣ нечего и говорить: Бетховенъ слишкомъ непонятъ и часто дикъ; у Моцарта слаба оркестровка; у новыхъ композиторовъ слишкомъ много шума и трескотни. Безукоризненная опера по мнѣнию знатоковъ одна — Донъ-Жуанъ; незнатоки находятъ его скучнымъ. Если совершенства нѣть въ природѣ и въ живомъ человѣкѣ, то еще меньше можно найти его въ искусствѣ и въ дѣлахъ человѣка: «въ слѣдствіи не можетъ быть того, чего нѣть въ причинѣ, въ человѣкѣ». Широкое, безпределльное поле открывается тѣму, кто захочеть доказывать слабость всѣхъ вообще произведений искусства. Само собою разумѣется, что подобное предпріятіе могло бы свидѣтельствовать о юности ума, но не о безпристрастії: достоинъ сожалѣнія человѣкъ, не преклоняющійся предъ великими произведеніями искусства; но простительно, когда призываютъ преувеличенныя похвалы, напоминать, что если на солнцѣ есть пятна, то въ «земныхъ дѣлахъ» человѣка ихъ не можетъ не быть.

VII. «Живой предметъ не можетъ быть прекрасенъ уже и потому что въ немъ совершается тяжелый, грубый процессъ жизни». — Произведеніе искусства — мертвый предметъ; поэтому кажется, что оно должно быть изъято отъ этого упрека. И однако же такое заключеніе поверхностно. Факты противорѣчатъ ему. Произведеніе искусства — созданіе жизненного процесса, созданіе живаго человѣка, который произвелъ дѣло не безъ тяжелой борьбы, и на про-

изведеніи отражается тяжелый, грубый следъ борьбы производства. Развѣ много такихъ поэтовъ и художниковъ, которые работаютъ шутя, какъ шутя, безъ поправокъ, писать, говорить, свои драмы Шекспиръ? А если произведение создано не безъ тяжелаго труда, на немъ будуть «пятна масляной лампады», при свѣтѣ которой работалъ художникъ. Тяжеловатость можно найти во всѣхъ почти произведеніяхъ искусства, какъ бы легки ни казались они съ первого взгляда. А если они въ самомъ дѣлѣ созданы безъ большаго, тяжелаго труда, то они будутъ страдать грубостью отъ дѣлки. Итакъ, одно изъ двухъ: или грубость, или тяжелая отделька—вотъ Сцилла и Хариба для произведеній искусства.

Я не хочу сказать, что всѣ недостатки, выставляемые этимъ анализомъ, всегда до грубости рѣзко отпечатываются на произведеніяхъ искусства. Я хочу только показать, что щепетильной критики, которую направляютъ на прекрасное въ дѣйствительности, никакъ не можетъ выдержать прекрасное, создаваемое искусствомъ.

Изъ обзора, нами сдѣланнаго, видно, что еслиъ искусство вытекало отъ недовольства нашего духа недостатками прекраснаго въ живой дѣйствительности и отъ стремленія создать нѣчто лучшее, то вся эстетическая дѣятельность человѣка оказалась бы напрасна, бесплодна, и человѣкъ скоро отказался бы отъ нея, видя, что искусство не удовлетворяетъ его намѣреніямъ. Вообще говоря, произведенія искусства страдаютъ всѣми недостатками, какіе могутъ быть найдены въ прекрасномъ живой дѣйствительности; но если искусство вообще не имѣть никакихъ правъ на предпочтеніе природѣ и жизни, то, быть можетъ, нѣкоторыя искусства въ частности обладаютъ какими-нибудь особенными преимуществами, ставящими ихъ произведенія выше соответствующихъ явлений живой дѣйствительности? быть можетъ даже, то или другое искусство производить нѣчто не имѣющее себѣ соответствія въ реальномъ мірѣ? Эти вопросы еще не рѣшаются нашою общою критикою, и мы должны прослѣдить частные случаи, чтобы видѣть, каково отношеніе прекраснаго въ определенныхъ искусствахъ къ прекрасному въ дѣйствительности, произведеній природою независимо отъ стремленія человѣка къ прекрасному. Только этотъ обзоръ дастъ намъ положительный отвѣтъ на то, можетъ ли происхожденіе искусства быть объясняемо неудовлетворительностью живой дѣйствительности въ эстетическомъ отношеніи.

Рядъ искусствъ начинаютъ обыкновенно съ архитектуры, изъ всѣхъ многоразличныхъ дѣятельностей человѣка для осуществления болѣе или менѣе практическихъ цѣлей уступая одной строительной дѣятельности право возвышаться до искусства. Но не справедливо такъ ограничивать поле искусства, если подъ «произведеніями искусства» понимаются «предметы, производимые человѣкомъ подъ преобладающимъ вліяніемъ его стремленія къ прекрасному»—есть такая степень развитія эстетического чувства въ народѣ, или, вѣрнѣѣ сказать, въ кругу высшаго общества, когда подъ преобладающимъ вліяніемъ этого стремленія замышаются и исполняются почти всѣ предметы человѣческой производительности: вещи, нужные для удобства домашней жизни (мебель, посуда, убранство дома), платье, сады и т. п. Этруссскія вазы и галлантерейныя вещи древнихъ всѣми признаны за «произведеніе искусства»; ихъ относить къ отдѣлу «скульптуры», конечно не совсѣмъ справедливо; но нѣужели къ архитектурѣ должны мы причислять мебельное искусство? къ какому отдѣлу отнесены будуть нами цвѣтники и сады, въ которыхъ первоначальное назначеніе — служить мѣстомъ прогулки или отдыха — совершенно подчиняется назначенію быть предметами эстетического наслажденія? въ нѣкоторыхъ эстетикахъ садоводство называется отраслью архитектуры, но это явная наружка. Называя искусствомъ всякую дѣятельность, производящую предметы подъ преобладающимъ вліяніемъ эстетического чувства, должно будетъ значительно расширить кругъ искусствъ; потому что нельзя не признать существеннаго тожества архитектуры, мебельнаго и моднаго искусства, садоводства, лѣпнаго искусства и т. д. Намъ скажутъ: «архитектура создаетъ новое, не существовавшее въ природѣ, она совершенно передѣливаетъ свой материалъ; другія отрасли человѣческой производительности оставляютъ свой материалъ въ его первобытной формѣ»—нѣтъ, есть много отраслей человѣческой дѣятельности, не уступающихъ архитектурѣ и въ этомъ отношеніи. Въ примѣръ представимъ цвѣтоводство: полевые цвѣты нисколько не похожи на роскошные маxровые цвѣты, обязанные своимъ происхожденіемъ цвѣтоводству. Что общаго между дикимъ лѣсомъ и искусственнымъ садомъ или паркомъ? Какъ архитектура обтесываетъ камни, такъ садоводство очищаетъ, выпрямляетъ деревья, придаетъ каждому дереву совершенно не тотъ видъ, какой имѣеть оно въ дѣственномъ лѣсу; какъ архитектура соеди-

няеть камни въ правильныя группы, такъ садоводство соединяетъ въ паркѣ деревья въ правильныя группы. Однимъ словомъ, цвѣтовородство или садоводство передѣлываютъ, обрабатываютъ «грубый материалъ», не менѣе, нежели архитектура. То же самое надоно сказать и о промышленности, создающей подъ преобладающимъ вліяніемъ стремлениія къ прекрасному, напримѣръ, ткани, которымъ природа не представляетъ ничего подобнаго и въ которыхъ первоначальный материалъ еще менѣе остался неизмѣннымъ, нежели камень въ архитектурѣ. «Но архитектура, какъ искусство, гораздо болѣе, нежели другія отрасли практической дѣятельности, подчиняется исключительнымъ требованіямъ эстетического чувства, совершиенно отказываясь отъ стремлениія удовлетворять житейскими цѣлями»;—но какой житейской цѣли удовлетворяютъ цвѣты, искусственные парки? и развѣ Паренонъ или Альгамбра не имѣли практическаго назначения? Гораздо въ меньшей степени, нежели архитектура, подчиняются практическимъ соображеніямъ садоводство, мебельное, ювелирное и модное искусства, которымъ однако же не посвящается особенной главы въ курсахъ эстетики. Мы видимъ причину того, что изъ всѣхъ практическихъ дѣятельностей одна строительная обыкновенно удостоивается имени изящнаго искусства, не въ существѣ ея, а въ томъ, что другія отрасли дѣятельности, возвышающіяся до степени искусства, забываются по «маловажности» своихъ произведеній, между тѣмъ, какъ произведенія архитектуры не могутъ быть упущеніи изъ виду по своей важности, дороговизнѣ и наконецъ просто по своей массивности, прежде всего и больше всего остального, производимаго человѣкомъ, бросаясь въ глаза. Всѣ отрасли промышленности, всѣ ремесла, имѣющія цѣлью удовлетворять «вкусу» или эстетическому чувству, мы признаемъ «искусствами» въ такой же степени, какъ архитектуру, когда ихъ произведенія замышаются и исполняются подъ преобладающимъ вліяніемъ стремлениія къ прекрасному и когда другія цѣли (которые всегда имѣть и архитектура) подчиняются этой главной цѣли. Совершенно другой вопросъ о томъ, до какой степени достойны уваженія произведенія практической дѣятельности, задуманныя и исполненные подъ преобладающимъ стремлениемъ произвести не столько что-нибудь дѣйствительно нужное или полезное, сколько произвести что-нибудь прекрасное. Какъ решить этотъ вопросъ, не входить въ сферу нашего разсужденія; но какъ решенье будетъ

онъ, точно такъ же долженъ быть рѣшенъ вопросъ и о степени уваженія, которой заслуживаютъ созданія архитектуры въ значеніи чистаго искусства, а не практической дѣятельности. Какими глазами смотрѣть мыслитель на кашмирскую шаль, стоющу 10,000 франковъ, на столовые часы, стоющіе 10,000 франковъ, такими же глазами должно смотрѣть онъ и на изящный кioskъ, стоющій 10,000 франковъ. Быть можетъ онъ скажетъ, что всѣ эти вещи—произведенія не столько искусства, сколько роскоши; быть можетъ онъ скажетъ, что истинное искусство чуждается роскоши, потому что существеннѣйшій характеръ прекраснаго—простота. Каково же отношеніе этихъ произведеній фривольнаго искусства въ безъискусственной дѣйствительности? Вопросъ рѣшается тѣмъ, что во всѣхъ указанныхъ нами случаяхъ дѣло идетъ о произведеніяхъ практической дѣятельности человѣка, которая, уклонившись въ нихъ отъ своего истиннаго назначенія—производить нужное или полезное, тѣмъ неменѣе сохраняетъ свой существенный характеръ—производить нечто такое, чего не производить природа. Потому не можетъ быть и вопроса, какъ въ этихъ случаяхъ относится красота произведеній искусства къ красотѣ произведеній природы: въ природѣ неѣтъ предметовъ, съ которыми было бы можно сравнивать ножи, вилки, сукно, часы; точно такъ же въ ней неѣтъ предметовъ, съ которыми было бы можно сравнивать дома, мосты, колонны и т. п.

Итакъ, если даже причислять къ области изящныхъ искусствъ всѣ произведенія, создаваемыя подъ преобладающимъ вліяніемъ стремленія къ прекрасному, то надобно будетъ сказать, что произведенія архитектуры или сохраняютъ свой практическій характеръ, и въ такомъ случаѣ не имѣютъ права быть разсматриваемы какъ произведенія искусства, или на самомъ дѣлѣ становятся произведеніями искусства, но искусство имѣть столько же права гордиться ими, какъ произведеніями ювелирнаго мастерства. По нашему понятію о сущности искусства, стремленіе къ произведенію прекраснаго въ смыслѣ граціознаго, изящнаго, красиваго не есть еще искусство; для искусства, какъ увидимъ, нужно больше; потому произведенія архитектуры ни въ какомъ случаѣ мы не рѣшимся назвать произведеніями искусства. Архитектура—одна изъ практическихъ дѣятельностей человѣка, которая всѣ не чужды стремленія къ красотѣ формы, и отличается въ этомъ отношеніи

оть мебельного мастерства не существеннымъ характеромъ, а только размѣромъ своихъ произведеній.

Общій недостатокъ произведеній скульптуры и живописи, по которому они стоятъ ниже произведеній природы и жизни—ихъ мертвѣнность, ихъ неподвижность; въ этомъ всѣ признаются, и потому было бы излишне распространяться относительно этого пункта. Посмотримъ же лучше на мнимыя преимущества этихъ искусствъ передъ природою.

Скульптура изображаетъ формы человѣческаго тѣла; все осталъное въ ней аксессуаръ; потому и будемъ говорить о томъ только, какъ она изображаетъ человѣческую фигуру. Обратилось въ какуюто аксиому, что красота очертаній Венеры Медицейской или Милосской, Аполлона Бельведерскаго и т. д. гораздо выше, нежели красота живыхъ людей. Въ Петербургѣ нѣтъ ни Венеры Медицейской, ни Аполлона Бельведерскаго; но есть произведенія Кановы; потому мы, жители Петербурга, можемъ имѣть смѣость судить до нѣкоторой степени о красотѣ произведеній скульптуры. Мы должны сказать, что въ Петербургѣ нѣтъ ни одной статуи, которая по красотѣ очертаній лица не была бы гораздо ниже безчисленнаго множества живыхъ людей и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улицѣ, чтобы встрѣтить нѣсколько такихъ лицъ. Въ этомъ согласятся большая часть тѣхъ, которые привыкли судить самостоятельно. Но этого собственнаго впечатлѣнія не будемъ однако считать доказательствомъ. Есть другое, гораздо болѣе твердое. Математически строго можно доказать, что произведеніе искусства не можетъ сравняться съ живымъ человѣческимъ лицомъ по красотѣ очертаній: известно, что въ искусствѣ исполненіе всегда неизмѣримо ниже того идеала, который существуетъ въ воображеніи художника. А самый этотъ идеалъ никакъ не можетъ быть по красотѣ выше тѣхъ живыхъ людей, которыхъ имѣлъ случай видѣть художникъ. Силы «творческой фантазіи» очень ограничены: она можетъ только комбинировать впечатлѣнія, полученные изъ опыта; воображеніе только разнообразитъ и экстенсивно увеличиваетъ предметъ, но интенсивнѣе того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можемъ вообразить. Я могу представить себѣ солнце гораздо больше по величинѣ, нежели каково оно въ дѣйствительности; но ярче того, какъ оно являлось мнѣ въ дѣйствительности, я не могу его вообразить. Точно такъ же я могу представить себѣ

человѣка выше ростомъ, толще и т. д., нежели тѣ люди, которыхъ я видѣлъ; но лица прекраснѣе тѣхъ лицъ, которыхъ случалось мнѣ видѣть въ дѣйствительности, я не могу себѣ вообразить. Это выше силъ человѣческой фантазіи. Одно могъ бы сдѣлать художникъ: соединить въ своеемъ идеалѣ лобъ одной красавицы, носъ другой, ротъ и подбородокъ третьей; не споримъ, что это иногда и дѣлаютъ художники; но сомнительно: впервыхъ, нужно ли это; во вторыхъ, въ состояніи ли воображеніе соединить эти части, когда онѣ дѣйствительно принадлежать разнымъ лицамъ. Нужно это было бы только тогда, когда бы художнику попадались все такія лица, въ которыхъ одна часть была бы хороша, а другія дурны. Но обыкновенно въ лицѣ всѣ части почти одинаково хороши или почти одинаково дурны, такъ что художникъ, будучи доволенъ, напр., лбомъ, долженъ почти въ такой же степени оставаться доволенъ и очертаніемъ носа и ртомъ. Обыкновенно, если лицо не изуродовано, то всѣ части его бываютъ въ такой гармоніи между собою, что нарушать ее значило бы портить красоту лица. Этому учить насъ сравнительная анатомія. Правда, очень часто случается слышать: «какъ хорошо было бы это лицо, еслибы носъ былъ нѣсколько приподнятъ къ верху, губы нѣсколько потоньше» и т. п.— нисколько не сомнѣваясь въ томъ, что иногда при красотѣ всѣхъ остальныхъ частей лица одна часть его бываетъ некрасива, мы думаемъ, что обыкновенно, или лучше сказать почти всегда, подобное недовольство проистекаетъ или отъ неспособности понимать гармонію, или отъ прихотливости, которая граничить съ отсутствіемъ истинной, сильной способности и потребности наслаждаться прекраснымъ. Части человѣческаго тѣла, какъ и всякаго живаго организма, постоянно возрождающагося подъ вліяніемъ своего единства, находятся между собою въ тѣснѣйшей связи, такъ что форма одного члена зависитъ отъ формъ всѣхъ остальныхъ, и въ свою очередь онѣ зависятъ отъ нея. Тѣмъ болѣе надобно это сказать о различныхъ частяхъ одного органа, о различныхъ частяхъ лица. Взаимная зависимость очертаній доказывается, какъ мы говорили, наукой, но и безъ помощи науки очевидна для всякаго, одареннаго чувствомъ гармоніи. Человѣческое тѣло—одно цѣлое; его нельзя разрывать на части и говорить: эта часть хороша, прекрасна, эта некрасива. И здѣсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, подбираніе, мозаичность, эклектизмъ ведеть къ несообразностямъ: принимайте все, или не

принимайте ничего — только тогда вы будете правы, по крайней мѣрѣ съ своей точки зрѣнія. Только въ уродахъ, въ этихъ электическихъ существахъ, умѣстна мѣрка эклектизма. А оригиналами при извяніи «великихъ произведеній скульптуры» конечно служили не они. Еслибы художникъ взялъ для своего извянія лобъ съ одного лица, носъ съ другого, ротъ съ третьяго, онъ доказалъ бы этимъ только одно: собственное безвкусіе или по крайней мѣрѣ неумѣніе отыскать дѣйствительно прекрасное лицо для своей модели. На основаніи всѣхъ приведенныхъ соображеній, мы думаемъ, что красота статуи не можетъ быть выше красоты живаго индивидуального человѣка; потому что снимокъ не можетъ быть прекраснѣе оригинала. Правда, не всегда статуя бываетъ вѣрнымъ снимкомъ съ натурщика; иногда «художникъ воплощаетъ въ своей статуй свой идеаль» — но какимъ образомъ составляется идеалъ художника, не похожій на его модель, мы будеть имѣть случай говорить впослѣдствії. Мы не забываемъ и того, что, кромѣ очертаній, въ произведеніи скульптуры есть еще группировка и выраженіе; но оба эти элемента красоты гораздо полнѣе, нежели въ статуй, мы встрѣчаемъ въ картинахъ; потому и анализируемъ ихъ, говоря о живописи, къ которой переходимъ. Живопись съ нашей настоящей точки зрѣнія мы должны раздѣлить на изображеніе отдѣльныхъ фигуръ и группъ, живопись изображающую виѣшній мѣрѣ и живопись изображающую фигуры и группы среди ландшафта или, выражаясь общѣе, среди обстановки.

Что касается до очертаній отдѣльной человѣческой фигуры, надобно сказать, что живопись уступаетъ въ этомъ отношеніи не только природѣ, но и скульптурѣ: она не можетъ очерчивать такъ полно и опредѣленно; за то, распоряжаясь красками, она изображаетъ человѣка гораздо ближе къ живой природѣ и можетъ придавать его лицу гораздо болѣе выразительности, нежели скульптура. Не знаемъ, до какой степени совершенства дойдетъ со временемъ составленіе красокъ; но при настоящемъ положеніи этой стороны техники, живопись не можетъ хорошо передавать цвѣтъ человѣческаго тѣла вообще, и особенно цвѣтъ лица. Краски ея въ сравненіи съ цвѣтомъ тѣла и лица — грубое, жалкое подражаніе; вместо иѣжнаго тѣла она рисуетъ что-то зеленоватое или красноватое; и, говоря безотносительно, не принимая въ соображеніе, что и для этого зеленоватаго или красноватаго изображенія нужно имѣть не-

обыкновенное «умѣнье», мы должны будемъ признаться, что живое тѣло не можетъ быть удовлетворительно передано мертвыми красками. Одинъ только изъ оттѣнковъ его передаетъ живопись довольно хорошо—потерявшій жизненность, сухой цвѣтъ стариковскаго или загрубѣлого лица. Покрытыя оспенными ямочками или болѣзнями лица также выходятъ на картинахъ несравненно удовлетворительнѣе, нежели свѣжія, молодыя. Наилучшее выходить въ живописи наихудшимъ, наихудшее—наиболѣе удовлетворительнымъ. То же самое надобно сказать и о выраженіи лица. Лучше другихъ оттѣнковъ жизни удается живописи изображать судорожныя искашенія лица при разрушительно-сильныхъ аффектахъ, напр., выраженіе гнѣва, ужаса, свирѣпости, буйнаго разгула, физической боли или нравственнаго страданія, переходящаго съ физическое страданіе; потому что въ этихъ случаяхъ съ чертами лица происходятъ рѣзкія измѣненія, которыхъ достаточно могутъ быть изображены довольно грубыми взмахами кисти, и мелочная невѣрность или недовлетворительность подробностей исчезаетъ среди крупныхъ штриховъ: самый грубый намекъ здѣсь понятенъ для зрителя. Удовлетворительнѣе другихъ оттѣнковъ выраженія передается также съумашествіе, тупоуміе или отсутствіе мысли; потому что здѣсь почти нечего передавать или надобно передать дисгармонію—дисгармонія не портится, а развивается несовершенствомъ исполненія. Но всѣ остальные видоизмѣненія физиognomіи передаются живописью чрезвычайно недовлетворительно; потому что никогда не можетъ она достичь иѣжности штриховъ, гармоничности всѣхъ мельчайшихъ видоизмѣненій въ мускулахъ, отъ которыхъ зависитъ выраженіе иѣжной радости, тихой задумчивости, легкой веселости и т. д. Руки человѣческія грубы, и въ состояніи удовлетворительно сдѣлать только то, для чего не требуется слишкомъ удовлетворительной отдѣлки; «топорная работа»—вотъ на本事ое имя всѣхъ пластическихъ искусствъ, какъ скоро сравнимъ ихъ съ природою. Впрочемъ живопись (и скульптура) еще больше, нежели очертаніями или выраженіемъ своихъ фигуръ, гордится предъ природой группировкою. Но эта гордость еще менѣе понятна. Правда, искусству иногда удается безукоризненно сгруппировать фигуры, но напрасно будетъ оно превозноситься своею чрезвычайно рѣдкою удачею; потому что въ дѣйствительности никогда не бываетъ въ этомъ отношеніи неудачи: въ каждой группѣ живыхъ людей всѣ держать себя со-

вершено сообразно 1) сущности сцены, происходящей между ними; 2) сущности собственного своего характера и 3) условіямъ обстановки. Все это само собою всегда соблюдается въ дѣйствительной жизни и съ чрезвычайнымъ трудомъ достигаетъ этого искусство. «Всегда и само собою» въ природѣ; «очень рѣдко и съ величайшимъ напряженіемъ силъ» въ искусствѣ — вотъ фактъ, почти во всѣхъ отношеніяхъ характеризующій природу и искусство.

Переходимъ къ живописи изображающей природу. Очертанія предметовъ, опять, никакъ не могутъ быть не только нарисованы рукою, но и представлены воображеніемъ лучше, нежели встрѣчаются въ дѣйствительности; причину объясняли мы выше. Лучше дѣйствительной розы воображеніе не можетъ ничего представить; а исполненіе всегда ниже воображаемаго идеала. Цвѣтѣ нѣкоторыхъ предметовъ удаются живописи очень хорошо; но есть много предметовъ, колоритъ которыхъ она не можетъ передать. Вообще лучше удаются темные цвѣтѣ и грубые, жесткие оттѣнки; свѣтлые хуже; колоритъ предметовъ, освѣщенныхъ солнцемъ, хуже всего; такъ же неудачны выходятъ оттѣнки голубаго полуденного неба, розовые и золотистые оттѣнки утра и вечера. — «Но именно побѣждениемъ этихъ трудностей прославились великие художники», — т. е. тѣмъ, что побѣждали ихъ гораздо лучше, нежели другіе живописцы. Мы не говоримъ объ относительномъ достоинствѣ произведеній живописи, а сравниваемъ лучшія изъ нихъ съ природою. Насколько лучшія изъ нихъ лучше другихъ, настолько же уступаютъ природѣ. — «Но живопись лучше можетъ сгруппировать пейзажъ?» — сомнѣваемся; по крайней мѣрѣ въ природѣ на каждомъ шагу встрѣчаются картины, къ которымъ нечего прибавить, изъ которыхъ нечего выбросить. Не такъ говорятъ очень многіе люди, посвятивши свое жизнью изученію искусства и опустивши изъ вида природу. Но простое естественное чувство каждого человѣка, не вовлеченнаго въ пристрастіе художническою или дилетантскою односторонностью, будетъ согласно съ нами, когда мы скажемъ, что въ природѣ очень много такихъ мѣстоположеній, такихъ зрѣлищъ, которыми можно только восхищаться и въ которыхъ нечего осудить. Войдите въ порядочный лѣсъ — не говоримъ о лѣсахъ Америки, говоримъ о тѣхъ лѣсахъ, которые уже пострадали отъ руки человѣка, о нашихъ европейскихъ лѣсахъ — чего недостаетъ этому лѣсу? Кому изъ видѣвшихъ порядочный лѣсъ приходило въ голову, что

въ этомъ лѣсу надобно что-нибудь измѣнить, что-нибудь дополнить для полноты эстетического наслажденія имъ? — Прѣзжайте дѣсти, триста верстъ по дорогѣ—не говоримъ въ Крыму или въ Швейцаріи, нѣть, въ Европейской Россіи, которая, говорятъ, бѣдна видами—сколько вамъ встрѣтится на этомъ небольшомъ переѣздѣ такихъ мѣстностей, которая восхитить васъ, любясь на которыхъ вы не подумаете о томъ, что «еслибы тутъ вотъ это прибавить, тутъ вотъ это убавить, пейзажъ быль бы лучше». Человѣкъ съ неиспорченнымъ эстетическимъ чувствомъ наслаждается природою вполнѣ, не находить недостатковъ въ ея красотѣ. Мнѣніе, будто бы рисованный пейзажъ можетъ быть величественнѣе, граціознѣе или въ какомъ бы то ни было отношеніи лучше дѣйствительной природы, отчасти обязано своимъ происхожденіемъ предразсудку, надъ которымъ самодовольно подсмѣиваются въ наше время даже тѣ, которые въ сущности еще не отдѣмались отъ него,—предразсудку, что природа груба, низка, грязна, что надобно очищать и украшать ее для того, чтобы она облагородилась. Это принципъ подстриженныхъ садовъ. Другой источникъ мнѣнія о превосходствѣ рисованныхъ пейзажей надъ дѣйствительными анализируемъ ниже, когда будемъ разматривать вопросъ, въ чёмъ именно состоитъ наслажденіе, доставляемое намъ произведеніями искусства.

Остается взглянуть на отношеніе къ природѣ третьаго рода картинъ—картины, на которыхъ изображается группа людей среди пейзажа. Мы видѣли, что группы и пейзажи, изображаемые живописью, по идеѣ никакъ не могутъ быть выше того, что представляетъ намъ дѣйствительность, а по исполненію всегда неизмѣримо ниже дѣйствительности. Но то справедливо, что на картинѣ группа можетъ быть поставлена въ обстановкѣ болѣе эффектной и даже болѣе приличной сущности ея, нежели обыкновенная дѣйствительная обстановка (радостныя сцены часто происходятъ среди довольно-тусклой или даже грустной обстановки; потрясающія, величественные сцены часто, и даже болѣею частію—среди обстановки вовсе не величественной; и наоборотъ, очень часто пейзажъ не наполненъ группами, характеръ которыхъ быль бы приличенъ его характеру). Искусство очень легко исполняетъ эту исполниту, и мы готовы сказать, что оно имѣеть въ этомъ случаѣ преимущество предъ дѣйствительностью. Но, признавая это преимущество, мы должны размотрѣть впервыхъ, до какой степени оно важно, во-

вторыхъ, всегда ли оно бываетъ истиннымъ преимуществомъ.—Картина изображаетъ пейзажъ и группу людей среди этого пейзажа. Обыкновению въ такихъ случаяхъ или пейзажъ есть только рамка для группы, или группа людей только второстепенный аксессуаръ, а главное въ картинѣ—пейзажъ. Въ первомъ случаѣ преимущество искусства надъ дѣйствительностью ограничивается тѣмъ, что оно съискало для картины золоченную рамку вмѣсто простой; во второмъ искусство прибавило, можетъ быть прекрасный, но второстепенный аксессуаръ—выигрышъ также не слишкомъ великъ. Но дѣйствительно ли внутреннее значеніе картины возвышается, когда живописцы стараются дать группѣ людей обстановку, соотвѣтствующую характеру группы? Это сомнительно въ большей части случаевъ. Не будетъ ли слишкомъ однообразно сцены счастливой любви всегда освѣщать лучами радостнаго солнца и помѣщать среди смыющейся зелени луговъ, и притомъ еще весною, когда «вся природа дышетъ любовью», а сцены преступленій освѣщать молниєю и помѣщать среди дикихъ скалъ? И кромѣ того, не будетъ ли не совсѣмъ гармонирующая съ характеромъ сцены обстановка, какова обыкновенно бываетъ она въ дѣйствительности, своею дисгармониєю возвышать впечатлѣніе, производимое самою сценою? И не имѣть ли почти всегда обстановка вліянія на характеръ сцены, не придается ли она ей новыхъ оттѣнковъ, не придается ли она ей чрезъ то больше свѣжести, и больше жизни?

Окончательный выводъ изъ этихъ сужденій о скульптурѣ и живописи: мы видимъ, что произведенія того и другого искусства по многимъ и существеннѣйшимъ элементамъ (по красотѣ очертаній, по абсолютному совершенству исполненія, по выразительности и т. д.) неизмѣримо ниже природы и жизни; но, кромѣ одного маловажнаго преимущества живописи, о которомъ сейчасъ говорили, рѣшительно не видимъ, въ чёмъ произведенія скульптуры или живописи стояли бы выше природы и дѣйствительной жизни. Теперь намъ остается говорить о музыке и поэзіи—высшихъ, совершенѣйшихъ искусствахъ, предъ которыми исчезаютъ и живопись, и скульптура. Но прежде мы должны обратить вниманіе на вопросъ: въ какомъ отношеніи находится инструментальная музыка къ вокальной, и въ какихъ случаяхъ вокальная музыка можетъ называться искусствомъ?

Искусство есть дѣятельность, посредствомъ которой осущест-

влять человѣкъ свое стремленіе къ прекрасному—таково обыкновенное опредѣленіе искусства; мы не согласны съ нимъ; но пока не высказана наша критика, еще не имѣемъ права отступать отъ него, и подстановивъ впослѣдствіи вмѣсто употребляемаго нами здѣсь опредѣленія то, которое кажется намъ справедливымъ, мы не измѣнимъ чрезъ это нашихъ выводовъ относительно вопроса: всегда ли пѣніе есть искусство, и въ какихъ случаяхъ становится оно искусствомъ.—Какова первая потребность, подъ влияниемъ которой человѣкъ начинаетъ пѣть? участвуетъ ли въ ней насколько-нибудь стремленіе къ прекрасному? Намъ кажется, что это потребность, совершенно отличная отъ заботы о прекрасномъ. Человѣкъ спокойный можетъ быть замкнутъ въ себѣ, можетъ молчать. Человѣкъ, находящійся подъ влияниемъ чувства радости или печали, дѣлается сообщителенъ; этого мало: онъ не можетъ не выражать во внѣшности своего чувства: «чувство просится наружу». Какимъ же образомъ выступаетъ оно во внѣшній міръ? Различно, смотря потому, какъ его характеръ. Внезапная и потрясающія ощущенія выражаются крикомъ или воскликаніями; чувства непріятныя, переходящія въ физическую боль, выражаются разными гримасами и движеніями; чувство сильного недовольства также—безпокойными, разрушительными движеніями; наконецъ чувства радости и грусти разсказомъ, когда есть кому разсказать, и пѣніемъ, когда некому рассказывать, или когда человѣкъ не хочетъ разсказывать. Эта мысль найдется въ каждомъ разсужденіи о народныхъ пѣсняхъ. Странно только, почему не обращаютъ вниманія на то, что пѣніе, будучи по сущности своей выраженіемъ радости или грусти, вовсе не происходитъ отъ нашего стремленія къ прекрасному. Неужели подъ преобладающимъ влияниемъ чувства человѣкъ будетъ еще думать о томъ, чтобы достигать прелести, граціи, будетъ заботиться о формѣ? Чувство и форма противоположны между собою. Уже изъ этого одного видимъ, что пѣніе, произведеніе чувства, и искусство, заботящееся о формѣ, два совершенно различные предмета. Пѣніе первоначально и существенно — подобно разговору—произведеніе практической жизни, а не произведеніе искусства; но какъ всякое «умѣніе», пѣніе требуетъ привычки, занятія, практики, чтобы достичь высокой степени совершенства; какъ всѣ органы, органъ пѣнія, голосъ, требуетъ обработки, ученья, для того, чтобы сдѣлаться покорнымъ орудіемъ воли—и естественное пѣніе становится въ

этомъ отношеніи «искусствомъ», но только въ томъ смыслѣ, въ какомъ называется «искусствомъ» умѣнье писать, считать, пахать землю, всякая практическая дѣятельность; а вовсе не въ томъ смыслѣ, какой придается слову «искусство» эстетику.

Но въ противоположность естественному пѣнію существуетъ искусственное пѣніе, старающееся подражать естественному. Чувство придаетъ особенный, высокій интересъ всему, что производится подъ его влияніемъ; оно даже придаетъ всему особенную прелестъ, особенную красоту. Одушевленное грустью или радостью лицо въ тысячу разъ прекраснѣе, нежели холодное. Естественное пѣніе, какъ изображеніе чувства, будучи произведеніемъ природы, а не искусства, заботящагося о красотѣ, имѣтъ однако высокую красоту; потому является въ человѣкѣ желаніе пѣть нарочно, подражать естественному пѣнію. Каково отношеніе этого искусственного пѣнія къ естественному?—оно гораздо обдуманнѣе, оно разсчитано, украшено всѣмъ, чѣмъ только можетъ украсить его гений человѣка: какое сравненіе между арию итальянской оперы и простымъ, бѣднымъ, монотоннымъ мотивомъ народной пѣсни! Но вся ученость гармоніи, все изящество развитія, все богатство украшеній гениальной арии, вся гибкость, все несравненное богатство голоса, ее исполняющаго, не замѣнить недостатка искренняго чувства, которымъ проникнуть бѣдный мотивъ народной пѣсни и неблестящій, мало-обработанный голосъ человѣка, который поетъ не изъ желанія блеснуть и выказать свой голосъ и искусство, а изъ потребности излить свое чувство. Различіе между естественнымъ и искусственнымъ пѣніемъ—различіе между актеромъ, играющимъ роль веселаго или печального и человѣкомъ, который въ самомъ дѣлѣ обрадованъ или опечаленъ чѣмъ-нибудь—различіе между оригиналомъ и копіею, между дѣйствительностью и подражаніемъ. Спѣшимъ прибавить, что композиторъ можетъ въ самомъ дѣлѣ проникнуться чувствомъ, которое должно выражаться въ его произведеніи; тогда онъ можетъ написать нечто гораздо высшее не только по внѣшней красивости, но и по внутреннему достоинству, нежели народная пѣсня: но въ такомъ случаѣ его произведеніе будетъ произведеніемъ искусства или «умѣнья» только съ технической стороны, только въ томъ смыслѣ, въ которомъ и всѣ, человѣческія произведенія, созданныя при помощи глубокаго изученія, соображеній, заботы о томъ, чтобы «вышло какъ возможно лучше», могутъ называться произведеніями

искусства; въ сущности же произведение композитора, написанное подъ преобладающимъ вліяніемъ непроизвольного чу́ства, будетъ создание природы (жизни) вообще, а не искусства. Точно такъ же, искусный и впечатлительный пѣвецъ можетъ войти въ свою роль, проникнуться тѣмъ чувствомъ, которое должна выражать его пѣсня, и въ такомъ случаѣ опоетъ ее на театрѣ, предъ публикою, лучше другаго человѣка, поющаго не на театрѣ, отъ избытка чувства, а не на показъ публикѣ; но въ такомъ случаѣ пѣвецъ перестаетъ быть актеромъ, и его пѣніе становится пѣснью самой природы, а не произведеніемъ искусства. Это увлеченіе чувствомъ мы не думаемъ смѣшивать съ вдохновеніемъ: вдохновеніе есть особенно благопріятное настроение творческой фантазіи; оно и увлеченіе чувствомъ имѣютъ общаго только то, что въ людяхъ, одаренныхъ поэтическимъ талантомъ и вмѣстѣ особенною впечатлительностью, вдохновеніе можетъ переходить въ увлеченіе чувствомъ, когда предметъ вдохновенія располагаетъ къ чувству. Между вдохновеніемъ и чувствомъ то же самое различіе, какое между фантазіею и дѣйствительностью, между мечтами и впечатлѣніями.

Первоначальное и существенное назначение инструментальной музыки—служить аккомпаниментомъ для пѣнія. Правда, впослѣдствіи, когда пѣніе становится для высшихъ классовъ общества преимущественно искусствомъ, когда слушатели начинаютъ быть очень требовательны въ отношеніи къ техникѣ пѣнія — за недостаткомъ удовлетворительного пѣнія инструментальная музыка старается замѣнить его, и является какъ иѣчто самостоятельное; правда, что она имѣеть и полное право обнаруживать притязанія на самостоятельное значеніе при усовершенствованіи музыкальныхъ инструментовъ, при чрезвычайномъ развитіи технической стороны игры и при господствѣ предпочтительного пристрастія къ исполненію, а не къ содержанію. Но тѣмъ неменѣе истинное отношеніе инструментальной музыки къ пѣнію сохраняется въ оперѣ, полнѣйшей формѣ музыки какъ искусства, и въ иѣкоторыхъ другихъ отрасляхъ концертной музыки. И нельзя не замѣтить, что несмотря на всю искусственность нашего вкуса, на изысканное пристрастіе ко всѣмъ трудностямъ и хитростямъ блестящей техники, всѣ продолжаютъ отдавать пѣнію предпочтеніе предъ инструментальною музыкою: едва начинается пѣніе, мы перестаемъ обращать вниманіе на оркестръ. Выше всѣхъ инструментовъ ставится скрипка, потому что

она «ближе всѣхъ инструментовъ подходить къ человѣческому голосу»; высочайшая похвала артисту: въ звукахъ его инструмента слышится человѣческий голосъ». Итакъ: инструментальная музыка—подражаніе пѣнію, его аккомпаниментъ или суррогатъ; въ самомъ пѣніи, пѣніе какъ произведеніе искусства только подражаніе и суррогатъ пѣнію, какъ произведенію природы. Послѣ этого мы имѣемъ право сказать, что въ музыкѣ искусство есть только слабое воспроизведеніе явлений жизни, независимыхъ отъ стремленія нашего къ искусству.

Переходимъ къ высочайшему и полнѣйшему изъ искусствъ, поэзіи, вопросы о которой заключаютъ въ себѣ всю теорію искусства. Неизмѣримо выше другихъ искусствъ стоитъ поэзія по своему содержанію; всѣ другія искусства не въ состояніи сказать намъ и сотой доли того, что говорить поэзія. Но совершенно измѣняется это отношеніе, когда мы обращаемъ вниманіе на силу и живость субъективнаго впечатлѣнія, производимаго поэзіею съ одной стороны и остальными искусствами съ другой. Всѣ другія искусства, подобно живой дѣйствительности, дѣйствуютъ прямо на чувства; поэзія дѣйствуетъ на фантазію; фантазія у однихъ людей гораздо впечатлительнѣе и живѣе, нежели у другихъ, но вообще должно сказать, что у здороваго человѣка ея образы блѣдны, слабы въ сравненіи съ воззрѣніями чувствъ; потому надобно сказать, что по силѣ и ясности субъективнаго впечатлѣнія поэзія далеко ниже не только дѣйствительности, но и всѣхъ другихъ искусствъ. Посмотримъ же, какова степень объективнаго совершенства содержанія и формы въ произведеніяхъ поэзіи, и можетъ ли она хотя въ этомъ отношеніи соперничать съ природою.

Много говорять о «законченности», «индивидуальности», «живой опредѣленности» лицъ и характеровъ, изображаемыхъ великими поэтами. Но вмѣстѣ съ этимъ говорятъ намъ, что «это однако же не отдельные лица, а общіе типы»—послѣ такой фразы было бы излишне доказывать, что самое опредѣленное, наилучшимъ образомъ обрисованное лицо остается въ поэтическомъ произведеніи только общимъ, неопределенно-очерченнымъ абрисомъ, которому живая опредѣленная индивидуальность придается только воображеніемъ (собственно говоря, воспоминаніями) читателя. Образъ въ поэтическомъ произведеніи точно такъ же относится къ дѣйствительному живому образу, какъ слово относится къ дѣйствительному

предмету, имъ обозначаемому—это не болѣе, какъ блѣдный и общій, неопределенный намекъ на дѣйствительность. Многое въ этой «общности» поэтическаго образа видятъ превосходство его надъ лицами, представляющими намъ въ дѣйствительной жизни. Такое мнѣніе основывается на предполагаемой противоположности между общимъ значеніемъ существа и его живою индивидуальностью, на предположеніи, будто бы «общее, индивидуализируясь, теряетъ свою общность» въ дѣйствительности и «возводится опять къ ней только силою искусства, совлекающаго съ индивидуума его индивидуальность». Не вдаваясь въ метафизическая сужденія о томъ, каковы на самомъ дѣлѣ каузальные отношенія между общимъ и частнымъ (причемъ необходимо было бы прийти къ заключенію, что для человѣка общее только блѣдный и мертвый экстрактъ изъ индивидуального, что поэтому между ними такое же отношеніе, какъ между словомъ и реальностью), скажемъ только, что на самомъ дѣлѣ индивидуальные подробности вовсе не мѣшаютъ общему значенію предмета, а, напротивъ, оживляютъ и дополняютъ его общее значеніе; что, во всякомъ случаѣ, поэзія признаетъ высокое превосходство индивидуального ужъ тѣмъ самымъ, что всѣми силами стремится къ живой индивидуальности своихъ образовъ; что съ тѣмъ вмѣстѣ никакъ не можетъ она достичь индивидуальности, а успѣваетъ только нѣсколько приблизиться къ ней, и что степенью этого приближенія опредѣляется достоинство поэтическаго образа. Итакъ: стремится, но не можетъ никогда достичь того, что всегда встрѣчается въ типическихъ лицахъ дѣйствительной жизни—ясно, что образы поэзіи слабы, неполны, неопределены въ сравненіи съ соответствующими имъ образами дѣйствительности. «Но встрѣчаются ли въ дѣйствительности истинно-типическія лица?»—достаточно предложить подобный вопросъ, и не дожидаться на него отвѣта какъ на вопросы о томъ, дѣйствительно ли въ жизни встрѣчаются добрые и дурные люди, моты, скучцы и т. д., дѣйствительно ли ледъ холоденъ, хлѣбъ очень питательенъ и т. п. Есть люди, которымъ все надобно указать и доказывать. Но ихъ нельзя убѣдить общими доказательствами въ общемъ сочиненіи; на нихъ можно дѣйствовать только порознь, для нихъ убѣдительны только специальные примѣры, заимствованные изъ кружка знакомыхъ имъ людей, въ которомъ, какъ бы ни былъ онъ тѣсенъ, всегда найдется нѣсколько истинно-типическихъ личностей; указаніе на истинно-типи-

ческія личности въ исторіи едва ли поможетъ: есть люди, готовые сказать: «историческія личности опоэтизированы преданіемъ, удивленіемъ современниковъ, гениемъ историковъ или своимъ исключительнымъ положениемъ».

Отчего произошло мнѣніе, будто бы типические характеры въ поэзіи выставляются гораздо чище и лучше, нежели представляются они въ дѣйствительной жизни, разсмотримъ послѣ; теперь обратимъ вниманіе на процессъ, посредствомъ котораго «создаются» характеры въ поэзіи—онъ обыкновенно представляется ручательствомъ за большую въ сравненіи съ живыми лицами типичность этихъ образовъ. Обыкновенно говорять: «Поэтъ наблюдаетъ множество живыхъ индивидуальныхъ личностей; ни одна изъ нихъ не можетъ служить полнымъ типомъ; но онъ замѣчаетъ, что въ каждой изъ нихъ есть общаго, типического; отбрасывая въ сторону все частное, соединяетъ въ одно художественное цѣлое разбросанныя въ различныхъ людяхъ черты, и такимъ образомъ создаетъ характеръ, который можетъ быть названъ квинтъ-эссенцію дѣйствительныхъ характеровъ». Положимъ, что все это совершенно справедливо, и что всегда бываетъ именно такъ; но квинтъ-эссенція вещь обыкновенно непохожа бываетъ на самую вещь: тeinъ не чай, алкоголь не вино; по правилу, приведенному выше, въ самомъ дѣлѣ поступаютъ «сочинители», дающіе намъ вместо людей квинтъ-эссенцію героизма и злобы въ видѣ чудовищъ порока и каменныхъ героевъ. Всѣ, или почти всѣ, молодые люди влюбляются — вотъ общая черта, въ остальныхъ они не сходны — и во всѣхъ произведеніяхъ поэзіи мы услаждаемся дѣвицами и юношами, которые и мечтаютъ и толкаютъ всегда только о любви, и во все продолженіе романа только и дѣлаютъ, что страдаютъ или блаженствуютъ отъ любви; всѣ пожилые люди любятъ порезонерствовать, въ остальномъ они не похожи другъ на друга; всѣ бабушки любятъ внучать и т. д., — и вотъ всѣ повѣсти и романы населяются стариками, которые только и дѣла дѣлаютъ, что ласкаютъ внучать и т. п. Но большую частью рецептъ не совсѣмъ соблюдается: у поэта, когда онъ «создаетъ» свой характеръ, носится предъ воображеніемъ обыкновенно образъ какого-нибудь дѣйствительного лица; иногда сознательно, иногда безсознательно, «воспроизводить» онъ его въ своемъ типическомъ лицѣ. Въ доказательство напомнимъ о безчисленномъ количествѣ

произведеній, въ которыхъ главное дѣйствующее лицо—болѣе или менѣе вѣрный портретъ самого автора (напр. Фаусть, Донъ Карлосъ и маркизъ Поза, герои Байрона, герои и геронини Жоржъ-Занда, Ленскій, Онѣгинъ, Печоринъ); напомнимъ еще объ очень частыхъ обвиненіяхъ противъ романистовъ, что они «въ своихъ романахъ выставляютъ портреты своихъ знакомыхъ»—эти обвиненія обыкновенно отвергаются съ насмѣшкою и негодованіемъ; но они болѣщею частью бывають только утрированы и несправедливо выражаемы, а не по сущности своей несправедливы. Съ одной стороны, приличія, съ другой обыкновенное стремленіе человѣка къ самостоятельности, къ «творчеству, а не списыванію копій» заставляютъ поэта видоизмѣнять характеры, списываемые имъ съ людей, которые встрѣчались ему въ жизни, представлять ихъ до нѣкоторой степени не точными; кромѣ того, списанному съ дѣйствительного человѣка лицу обыкновенно приходится въ романѣ дѣйствовать совершенно не въ той обстановкѣ, какой оно было окружено на самомъ дѣлѣ, и отъ этого виѣшнее сходство теряется. Но всѣ эти перемѣны не мѣшаютъ характеру въ сущности оставаться списаннымъ, а не созданнымъ, портретомъ, а не оригиналомъ. Противъ этого можно сказать: правда, что первообразомъ для поэтическаго лица служить очень часто дѣйствительное лицо; но поэтъ «возводить его къ общему значенію»—возводить обыкновенно не зачѣмъ, потому что и оригиналъ уже имѣть общее значеніе въ своей индивидуальности; надобно только — и въ этомъ состоить одно изъ качествъ поэтическаго генія—умѣть понимать сущность характера въ дѣйствительномъ человѣкѣ, смотрѣть на него проницательными глазами; кромѣ того надобно понимать или чувствовать, какъ стать бы дѣйствовать и говорить этотъ человѣкъ въ тѣхъ обстоятельствахъ, среди которыхъ онъ будетъ поставленъ поэтомъ—другая сторона поэтическаго генія; въ третьихъ надобно умѣть изобразить его, умѣть передать его такимъ, какимъ понимается его поэтъ—едвали не самая характеристическая черта поэтическаго генія. Понять, умѣть сообразить или почувствовать инстинктомъ и передать понятое—вотъ задача поэта при изображеніи большей части изображаемыхъ имъ лицъ. Вопросъ о томъ, что называется «возведеніемъ къ идеальному значенію», «опоэтизированіемъ» прозы и нескладицы жизни, представится намъ ниже. Мы нѣсколько не сомнѣваемся однако, что бываетъ въ поэтическихъ произведеніяхъ очень много лицъ,

которая не могут быть названы портретами, которых «созданы» поэтомъ. Но это происходит вовсе не отъ того, чтобы не нашлось въ дѣйствительности достойныхъ натурщиковъ; а совершенно оть другой причины, чаще всего просто оть забывчивости или недостаточного знакомства: если въ памяти поэта исчезли живыя подробности, осталось только общее отвлеченное понятіе о характерѣ, или поэтъ знаетъ о типическомъ лицѣ гораздо меньше, нежели нужно для того, чтобы оно было живымъ лицомъ, то поневолѣ приходится ему самому дополнять общій очеркъ, отг҃нить абристъ. Но почти никогда эти придуманныя лица не обрисовываются предъ нами какъ живые характеры. Вообще, чѣмъ больше намъ извѣстно о характерѣ поэта, о его жизни, о лицахъ, съ которыми онъ сталкивался, тѣмъ больше видимъ у него портретовъ съ живыхъ людей. Трудно не согласиться, что «созданного» въ лицахъ, изображаемыхъ поэтами, бываетъ и всегда бывало гораздо меньше, а списанного съ дѣйствительности гораздо больше, нежели обыкновенно предполагаютъ; трудно не прійти къ убѣждению, что поэтъ въ отношеніи къ своимъ лицамъ почти всегда только историкъ или авторъ мемуаровъ. Само собою разумѣется, что всѣмъ этимъ не не хотимъ мы сказать, будто бы каждое слово, произносимое Маргаритою или Мефистофелемъ, было буквально слышано Гёте отъ Гретхенъ и Мерка. Не только геніальный поэтъ, но и самый ненаходчивый рассказчикъ въ состояніи къ одной фразѣ приѣдѣть другую въ томъ же родѣ, прибавить вступленія и переходы.

Гораздо больше бываетъ «самостоятельно изобрѣтеннаго» или «придуманного»—рѣшаемся замѣнить этими терминами обыкновенный, слишкомъ гордый терминъ: «созданного»—въ событияхъ, изображаемыхъ поэтомъ, въ интригѣ, завязкѣ и развязкѣ ея и т. д., хотя очень легко доказать, что сюжетами романовъ, повѣстей и т. д. обыкновенно служатъ поэту дѣйствительно совершившейся события или анекдоты, разнаго рода рассказы и пр. (укажемъ въ примѣръ на всѣ прозаическія повѣсти Пушкина: Капитанская дочка—анекдотъ; Дубровскій—анекдотъ; Пиковая дама—анекдотъ; Выстрѣль—анекдотъ, и т. д.). Но общій очеркъ сюжета самъ по себѣ еще не придастъ высокаго поэтическаго достоинства роману или повѣсти—надобно умѣть воспользоваться сюжетомъ; потому, оставляя безъ разсмотрѣнія «самостоятельность» сюжета, обратимъ вниманіе на то, выше или ниже дѣйствительныхъ событий «поэтичность» поэти-

ческихъ произведеній се стороны сюжета, какъ онъ представляется въ нихъ вполнѣ развитымъ. Какъ пособія для получения окончательного вывода, выставимъ нѣсколько вопросовъ, изъ которыхъ большая часть разрѣшаются сами собою: 1) Бываютъ ли въ дѣйствительности поэтическія событія, совершаются ли въ дѣйствительности драмы, романы, комедіи, трагедіи, водевили? — ежеминутно. 2) Истинно ли поэтичны эти событія въ своемъ развитіи и развязкѣ? — имѣютъ ли въ дѣйствительности художественную полноту и законченность? — Какъ случится; часто не имѣютъ, но очень часто имѣютъ. Есть очень много такихъ событій, въ которыхъ строго-поэтическое воззрѣніе не находитъ никакихъ недостатковъ въ художественномъ отношеніи. Этотъ пунктъ рѣшается чтеніемъ первой хорошо написанной исторической книги, первымъ вечеромъ, проведеннымъ въ бесѣдѣ съ человѣкомъ, много на своемъ вѣку видавшимъ; разрѣшается, наконецъ, первыми взятыми въ руки нумерами какой-нибудь французской или англійской судебнай газеты. 3) Есть ли между этими законченными поэтическими событіями такія, которые могли бы безъ всякаго измѣненія быть переданы подъ заглавіемъ «драма», «трагедія», «романъ» и т. п.? — очень много; правда, что многія изъ дѣйствительныхъ событій неправдоподобны, основаны на слишкомъ рѣдкихъ, исключительныхъ положеніяхъ или спѣщеніяхъ обстоятельствъ, и потому въ настоящемъ своемъ видѣ имѣютъ видъ сказки или натянутой выдумки (изъ этого можно видѣть, что дѣйствительная жизнь часто бываетъ слишкомъ драматична для драмы, слишкомъ поэтична для поэзіи); но очень много есть событій, въ которыхъ при всей ихъ замѣчательности, нѣть ничего эксцентрическаго, невѣроятнаго, все спѣщеное происшествій, весь ходъ и развязка того, что въ поэзіи называется интригою, прости, естественны. 4) Имѣютъ ли дѣйствительные событія «общую» сторону, которая необходима въ поэтическомъ произведеніи? — конечно ее имѣть всякое событіе, достойное вниманія мыслящаго человѣка; а такихъ событій очень много.

Послѣ всего этого трудно не сказать, что въ дѣйствительности есть много событій, которыя надобно только знать, понять и умѣть разскажать, чтобы они въ чистомъ прозаическомъ разсказѣ историка, писателя мемуаровъ или собирателя анекдотовъ отличались отъ настоящихъ «поэтическихъ произведеній» только меньшимъ объемомъ, меньшимъ развитіемъ сценъ, описаній и тому подобныхъ

подробностей. И въ этомъ мы находимъ существенное различие поэтическихъ произведений отъ точного, прозаического пересказыванія дѣйствительныхъ происшествій. Большая полнота подробностей, или то, что въ плохихъ произведеніяхъ приобрѣтаетъ имя «реторического распространенія»—вотъ къ чему въ сущности приводится все превосходство поэзіи надъ точными разсказомъ. Мы не меньше другихъ готовы смѣяться надъ реторикою; но, признавая законными всѣ стремленія, всѣ потребности человѣческаго сердца, какъ скоро замѣчаемъ ихъ всеобщность, мы признаемъ важность этихъ поэтическихъ распространеній, потому что всегда и вездѣ видимъ стремленіе къ нимъ въ поэзіи: въ жизни всегда есть эти подробности, не нужные для сущности дѣла, но необходимы для его дѣйствительного развитія; должны онъ быть и въ поэзіи. Разница только въ томъ, что въ дѣйствительности подробности никогда не могутъ быть умышленными механическимъ растягиваніемъ дѣла, а въ поэтическихъ произведеніяхъ онъ на самомъ дѣлѣ очень часто отзываются реторикою, механическимъ растягиваніемъ разсказа. За что же и превозносятъ Шекспира, если не за то, что въ рѣшительныхъ, лучшихъ сценахъ онъ отбрасываетъ въ сторону эти распространенія? Но сколько найдется ихъ даже у него, у Гете и у Шиллера! Намъ кажется (можетъ быть это—причастіе къ своему, родному), что русская поэзія носить въ себѣ зародыши отвращенія къ растягиванию сюжета механически подбираемыми подробностями. Въ повѣстяхъ и разсказахъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя общее свойство—краткость и быстрота разсказа.— Итакъ вообще, по сюжету, по типичности и полнотѣ обрисовки лицъ, поэтическія произведенія далеко уступаютъ дѣйствительности; но есть двѣ стороны, которыми они могутъ стоять выше дѣйствительности; — это украшеніе и сочетаніе лицъ съ тѣми событиями, въ которыхъ они участвуютъ.

Мы говорили, что живопись чаше, нежели дѣйствительность, окружаетъ группу обстановкою, соотвѣтствующую существенному характеру сцены; точно такъ же и поэзія чаше, нежели дѣйствительность, двигателями и участниками событий выставляетъ людей, которыхъ существенный характеръ совершенно соотвѣтствуетъ духу событий. Въ дѣйствительности очень часто мелкие по характеру люди являются двигателями трагическихъ, драматическихъ и т. д. событий; ничтожный повѣса, въ сущности даже вовсе не дурной

человѣкъ, можетъ надѣлать много ужасныхъ дѣлъ; человѣкъ, кото-
рого никакъ нельзя назвать дурнымъ, можетъ погубить счастіе
многихъ людей, и надѣлать несчастій гораздо больше, нежели Яго
или Мефистофель. Въ произведеніяхъ поэзіи, напротивъ того, очень
дурные дѣлаются и люди, очень дурные; хорошія дѣлаются
и люди, особенно хорошие. Въ жизни часто не знаешь, кого ви-
нить, кого хвалить; въ поэтическихъ произведеніяхъ обыкновенно
положительнымъ образомъ раздается честь и бесчестье. Но преиму-
щество это, или недостатокъ?—Бываетъ иногда то, иногда другое;
чаще бываетъ это недостаткомъ. Не говоримъ пока о томъ, что
слѣдствіемъ подобнаго обыкновенія бываетъ идеализація въ хоро-
шую и въ дурную сторону, или, просто говоря, преувеличеніе; по-
тому что мы не говорили еще о значеніи искусства, и рано еще
рѣшать, недостатокъ или достоинство эта идеализація; скажемъ
только, что вслѣдствіе постояннаго приспособленія характера людей
къ значенію событій, является въ поэзіи монотонность, однообразны
дѣлаются лица, и даже самыя событія; потому, что отъ разности
въ характеристикахъ дѣйствующихъ лицъ и самыя происшествія, су-
щественно сходныя, пріобрѣтали бы различный оттѣнокъ, какъ это
бываетъ въ жизни, вѣчно разнообразной, вѣчно новой, между тѣмъ
какъ въ поэтическихъ произведеніяхъ очень часто приходится чи-
тать повторенія.—Въ наше время принято смыться надъ украше-
ніями, не пристекающими изъ сущности предмета и не нужными
для достиженія главной цѣли; но до сихъ поръ еще удачное выра-
женіе, блестящая метафора, тысячи прикрасъ, придумываемыхъ для
того, чтобы сообщить виѣшнай блескъ сочиненію, имѣютъ чрезвы-
чайно большое вліяніе на сужденіе о произведеніяхъ поэзіи. Что
касается украшеній, виѣшнаго великолѣпія, замысловатости и т. д.,
мы всегда признаемъ возможность превзойти въ вымышленномъ
разсказѣ дѣйствительность. Но стойть только указать это мнимое
достоинство повѣсти или драмы, чтобы уронить ее въ глазахъ лю-
дей со вкусомъ, и низвести изъ области «искусства» въ область
«искусственности».

Нашъ разборъ показалъ, что произведеніе искусства можетъ
имѣть преимущество предъ дѣйствительностью развѣ только въ
двухъ-трехъ ничтожныхъ отношеніяхъ, и по необходимости остается
далеко ниже ея въ существенныхъ своихъ качествахъ. Разборъ
этотъ можно упрекнуть въ томъ, что онъ ограничивался самыми

общими точками зре́ния, не входилъ въ подробности, не ссыпался на примѣры. Дѣйствительно, его краткость кажется недостаткомъ, когда вспомнишь о томъ, до какой степени укоренилось мнѣніе, будто бы красота произведеній искусства выше красоты дѣйствительныхъ предметовъ, событий и людей; но когда посмотришь на шаткость этого мнѣнія, когда вспомнишь, какъ люди, его выставляющіе, противорѣчать сами себѣ на каждомъ шагу, то покажется, что было бы довольно, изложивъ мнѣніе о превосходствѣ искусства надъ дѣйствительностью, ограничиться прибавленіемъ словъ: это несправедливо, всякий чувствуетъ, что красота дѣйствительной жизни выше красоты созданій «творческой» фантазіи. Если такъ, то на чёмъ же основывается или, лучше сказать, изъ какихъ субъективныхъ причинъ проистекаетъ преувеличенно высокое мнѣніе о достоинствѣ произведеній искусства?

Первый источникъ этого мнѣнія—естественная наклонность человѣка чрезвычайно высоко цѣнить трудность дѣла и рѣдкость вещи. Никто не цѣнитъ чистоты выговора француза, говорящаго по-французски, немца, говорящаго по-немецки—«это ему не стоило никакихъ трудовъ, и это вовсе не рѣдкость»; но если французъ говорить сносно по-немецки, или немецъ по-французски—это составляетъ предметъ нашего удивленія и даетъ такому человѣку право на некоторое уваженіе съ нашей стороны; почему? потому, впервыхъ, что это рѣдко; потому, во вторыхъ, что это достигнуто цѣлыми годами усилий. Собственно говоря, почти каждый французъ превосходно говоритъ по-французски—но какъ мы взыскательны въ этомъ случаѣ!—малѣйший, почти незамѣтный оттѣнокъ провинціализма въ его выговорѣ, одна не совсѣмъ изящная фраза—и мы объявляемъ, что «этотъ господинъ говоритъ очень дурно на свое мѣсто языке». Русскій, говоря по-французски, въ каждомъ звукѣ изобличается, что для органовъ его неуловима полная чистота французского выговора, безпрестанно изобличаетъ свое иностранное происхожденіе въ выборѣ словъ, въ построеніи фразы, во всемъ складѣ рѣчи—и мы прощаемъ ему всѣ эти недостатки, мы даже не замѣчаемъ ихъ, а объявляемъ, что онъ превосходно, несравненно говорить по-французски, наконецъ мы объявляемъ, что «этотъ русскій говоритъ по-французски лучше самихъ французовъ», хотя въ сущности мы не думаемъ сравнивать его съ настоящими французами, сравнивая его только съ другими русскими, также усиливающимися

говорить по-французски — онъ дѣйствительно говоритъ несравненно лучше ихъ, но несравненно хуже французовъ — это подразумѣвается каждымъ, имѣющимъ понятіе о дѣлѣ; но многихъ гиперболическая фраза можетъ вводить въ заблужденіе. Точно то же и съ приговоромъ эстетики о созданіяхъ природы и искусства: малѣйший, истинный или мнимый, недостатокъ въ произведеніи природы — и эстетика толкуетъ о этомъ недостаткѣ, шокируетъ имъ, готова забывать о всѣхъ достоинствахъ, о всѣхъ красотахъ: стоять ли цѣнить ихъ, въ самомъ дѣлѣ, когда они явились безъ всякаго усилия! Тотъ же самый недостатокъ въ произведеніи искусства во сто разъ больше, грубѣе и окруженъ еще сотнями другихъ недостатковъ — и мы не видимъ всего этого, а если видимъ, то прощаемъ и восклицаемъ: «и на солнцѣ есть пятна». Собственно говоря, произведенія искусства могутъ быть сравниваемы только другъ съ другомъ при опредѣленіи относительного ихъ достоинства: некоторые изъ нихъ оказываются выше всѣхъ остальныхъ; и въ восторгѣ отъ ихъ красоты (только относительной) мы восклицаемъ: «они прекраснѣ самой природы и жизни! красота дѣйствительности — ничто предъ красотою искусства!» Но восторгъ пристрастенъ; онъ даетъ больше, нежели можетъ дать справедливость: мы цѣнимъ трудность — это прекрасно; но не должно забывать и существеннаго, внутренняго достоинства, которое независимо отъ степени трудности; мы дѣлаемся рѣшительно несправедливыми, когда трудность исполненія предпочитаемъ достоинству исполненія. Природа и жизнь производятъ прекрасное не заботясь о красотѣ, она является въ дѣйствительности безъ усилия и слѣдовательно безъ заслуги въ нашихъ глазахъ, безъ права на сочувствие, безъ права на снисхожденіе; да и къ чему снисхожденіе, когда прекраснаго въ дѣйствительности такъ много! «Все не въ совершенствѣ прекрасное въ дѣйствительности — дурно; все сколько-нибудь сносное въ искусствѣ — превосходно» — вотъ правило, на основаніи котораго мы судимъ. Чтобы доказать, какъ высоко цѣнится трудность исполненія и какъ много теряетъ въ глазахъ человѣка то, что дѣлается само собою, безъ всякихъ усилий съ нашей стороны, укажемъ на дагерротипные портреты; въ числѣ ихъ найдется очень много не только вѣрныхъ, но и передающихъ въ совершенствѣ выраженіе лица — цѣнимъ ли мы ихъ? странно даже услышать апологію дагерротипныхъ портретовъ. Другой примѣръ: какъ высоко уважалась каллиграфія! между тѣмъ, до-

вольно посредственно напечатанная книга несравненно прекраснѣе всякой рукописи; но кто же восхищается искусствомъ типографскаго фактора и кто не будетъ въ тысячу разъ больше любоваться на прекрасную рукопись, нежели на порядочно напечатанную книгу, которая въ тысячу разъ прекраснѣе рукописи? Что легко, то мало интересуетъ насъ, хотя бы по внутреннему достоинству было несравненно выше труда. Само собою разумѣется, что даже и съ этой точки зрѣнія мы правы только субъективно: «дѣйствительность производить прекрасное безъ усилий»—значить только, что усилия въ этомъ случаѣ дѣлаются не волею человѣка; на самомъ же дѣлѣ все въ дѣйствительности—и прекрасное и непрекрасное, и великое и мелкое—результатъ высочайшаго возможнаго напряженія силъ, не знающихъ ни отдыха, ни усталости. Но что намъ за дѣло до усилий и борьбы, которая совершаются не нашими силами и въ которыхъ не участвуетъ наше сознаніе? мы не хотимъ и знать о нихъ; мы цѣнимъ только человѣческую силу, цѣнимъ только человѣка. И вотъ другой источникъ нашей пристрастной любви къ произведеніямъ искусства: они—произведенія человѣка; потому мы гордимся ими, считая ихъ чѣмъ-то не чуждымъ намъ; они свидѣтельствуютъ объ умѣ человѣка, о его силѣ, и потому дороги для насъ. Всѣ народы, кромѣ французовъ, очень хорошо видятъ, что между Корнелемъ или Расиномъ и Шекспиромъ неизмѣримое разстояніе; но французы до сихъ порь еще сравниваютъ ихъ;—трудно дойти до сознанія: «наше не совсѣмъ хорошо»; между нами найдется очень много людей, готовыхъ утверждать, что Пушкинъ—всемирный поэтъ; есть даже люди, думающіе, что онъ выше Байрона: такъ высоко человѣкъ ставить свое. Какъ отдельный народъ преувеличиваетъ достоинство своихъ поэтовъ, такъ человѣкъ вообще преувеличиваетъ достоинство поэзіи вообще.

Причины пристрастія къ искусству, нами приведенныя, заслуживаютъ уваженія, потому что онѣ естественны: какъ человѣку не уважать человѣческаго труда, какъ человѣку не любить человѣка, не дорожить произведеніями, свидѣтельствующими объ умѣ и силѣ человѣка? Но едвали заслуживаетъ такого уваженія третья причина предпочтительной любви нашей къ искусству. Искусство льстить нашему искусственному вкусу. Мы очень хорошо понимаемъ, какъ искусственны были нравы, привычки, весь образъ мыслей временъ Людовика XIV; мы приблизились къ природѣ, гораздо лучше по-

нимаемъ и цѣнимъ ее, нежели понимало и цѣнило общество XVII вѣка; тѣмъ не менѣе мы еще очень далеки отъ природы; наши привычки, нравы, весь образъ жизни и вслѣдствіе того весь образъ мыслей еще очень искусственны. Трудно видѣть недостатки своего вѣка, особенно когда эти недостатки стали слабѣе, нежели были въ прежнее время; вмѣсто того, чтобы замѣтать, какъ много еще въ насы изысканной искусственности, мы замѣтаемъ только, что XIX вѣкъ стоитъ въ этомъ отношеніи выше XVII, лучше его понимая природу, и забываемъ, что ослабѣвшая болѣзнь не есть еще полное здоровье. Наша искусственность видна во всемъ, начиная съ одежды, надь которою такъ много всѣ смѣются и которую всѣ продолжаютъ носить, до нашего кушанья, приправляемаго всевозможными примѣсями, совершенно измѣняющими естественный вкусъ блюда; отъ изысканности нашего разговорнаго языка до изысканности нашего литературнаго языка, который продолжаетъ украшаться антитезами, остротами, распространеніями изъ loci topici, глубокомысленными разсужденіями на избитыя темы и глубокомысленными замѣчаніями о человѣческомъ сердцѣ, на-манеръ Корнеля и Расина въ беллетристикѣ и на-манеръ Иоанна Миллера въ историческихъ сочиненіяхъ. Произведенія искусства лѣстятъ всѣмъ мелочнымъ нашимъ требованіямъ, происходящимъ отъ любви къ искусственности. Не говоримъ о томъ, что мы до сихъ поръ еще любимъ «умывать» природу, какъ любили наряжать ее въ XVII вѣкѣ—это завлекло бы насъ въ длинныя сужденія о томъ, что такое «грязное» и до какой степени оно должно являться въ произведеніяхъ искусства. Но до сихъ поръ въ произведеніяхъ искусства господствуетъ мелочная отдѣлка подробностей, которой цѣль не приведеніе подробностей въ гармонію съ духомъ цѣлаго, а только то, чтобы сдѣлать каждую изъ нихъ въ отдѣльности интереснѣе или красивѣе, почти всегда во вредъ общему впечатлѣнію произведенія, его правдоподобію и естественности; господствуетъ мелочная погоня за эффектностью отдѣльныхъ словъ, отдѣльныхъ фразъ и цѣлыхъ эпизодовъ, раззвѣчиванье не совсѣмъ натуральными, но рѣзкими красками лицъ и событій. Произведеніе искусства мелочнѣе того, что мы видимъ въ жизни и въ природѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ эффектнѣе—какъ же не утвердиться мнѣнію, что оно прекраснѣе дѣйствительной природы и жизни, въ которыхъ такъ мало искусственности, которымъ чуждо стремленіе заинтересовать?

Природа и жизнь выше искусства; но искусство старается угодить нашимъ наклонностямъ, а дѣйствительность не можетъ быть подчинена стремлению нашему видѣть все въ томъ цвѣтѣ и въ томъ порядкѣ, какой нравится намъ или соотвѣтствуетъ нашимъ понятіямъ, часто одностороннимъ. Изъ многихъ случаевъ этого угожденія господствующему образу мыслей укажемъ на одинъ: многіе требуютъ, чтобы въ сатирическихъ произведеніяхъ были лица, «на которыхъ могло бы съ любовью отдохнуть сердце читателя»—требованіе очень естественное; но дѣйствительность очень часто не удовлетворяетъ ему, представляя множество событий, въ которыхъ нѣтъ ни одного отраднаго лица; искусство почти всегда угождаетъ ему; и не знаемъ, найдется ли, напримѣръ, въ русской литературѣ, кромѣ Гоголя, писатель, который бы не подчинился этому требованію; и у самого Гоголя за недостатокъ «отрадныхъ» лицъ вознаграждаются «высоко-лирическія» отступленія. Другой примѣръ: человѣкъ наклоненъ къ сентиментальности; природа и жизнь не раздѣляютъ этого направленія; но произведенія искусства почти всегда болыше или меныше удовлетворяютъ ему. То и другое требованіе—следствіе ограниченности человѣка; природа и дѣйствительная жизнь выше этой ограниченности; произведенія искусства, подчиняясь ей, становясь этимъ ниже дѣйствительности и даже очень часто подвергаясь опасности впадать въ пошлость или въ слабость, приближаются къ обыкновеннымъ потребностямъ человѣка и чрезъ это выигрываютъ въ его глазахъ.—«Но въ такомъ случаѣ вы сами соглашаетесь, что произведенія искусства лучше, полнѣе, нежели объективная дѣйствительность, удовлетворяютъ природѣ человѣка; следовательно для человѣка они лучше произведеній дѣйствительности».—Заключеніе, не совсѣмъ точно выраженное; дѣло въ томъ, что искусственно развитой человѣкъ имѣеть много искусственныхъ, исказившихся до лживости, до фантастичности требованій, которымъ нельзя вполнѣ удовлетворить, потому что они въ сущности не требованія природы, а мечты испорченного воображенія; которымъ почти невозможно и угодить, не подвергаясь насмѣшкѣ и презрѣнию отъ самого того человѣка, которому стараемся угодить, потому что онъ самъ инстинктивно чувствуетъ, что его требованіе не стоять удовлетворенія. Такъ публика и въ слѣдь за нею эстетика требуютъ «отрадныхъ» лицъ, сентиментальности—и та же самая публика смѣется надъ произведеніями искусства, удовлетворяющими

этимъ желаніямъ. Угождать прихотямъ человѣка не значитъ еще удовлетворять потребностямъ человѣка. Первѣйшая изъ этихъ потребностей—истина. — Мы говорили объ источникахъ предпочтенія произведеній искусства явленіямъ природы и жизни относительно содержанія и выполненія; но очень важно и впечатлѣніе, производимое на насъ искусствомъ или дѣйствительностью: степенью его также измѣряется достоинство вещи

Мы видѣли, что впечатлѣніе, производимое созданіями искусства, должно быть гораздо слабѣе впечатлѣнія, производимаго живою дѣйствительностью, и не считаемъ нужнымъ доказывать это. Однакоже въ этомъ отношеніи произведеніе искусства находится въ гораздо благопріятнѣйшихъ обстоятельствахъ, нежели явленія дѣйствительности; и эти обстоятельства могутъ заставить человѣка, не привыкшаго анализировать причины своихъ ощущеній, предполагать, что искусство само по себѣ производить на человѣка больше дѣйствія, нежели живая дѣйствительность. Дѣйствительность представляется нашимъ глазамъ независимо отъ нашей воли, большую частью не во время, не кстати. Очень часто мы отправляемся въ общество, на гулянье, вовсе не затѣмъ, чтобы любоваться человѣческою красотою, не затѣмъ, чтобы наблюдать характеры, слѣдить за драмою жизни; отправляемся съ заботами въ головѣ, съ замкнутымъ для впечатлѣній сердцемъ. Но кто же отправляется въ картинную галлерею не затѣмъ, чтобы наслаждаться красотою картинъ? кто принимается читать романъ не затѣмъ, чтобы вникать въ характеры изображенныхъ тамъ людей и слѣдить за развитіемъ сюжета? На красоту, на величие дѣйствительности мы обыкновенно обращаемъ вниманіе почти насильно. Пусть она сама, если можетъ, привлечетъ на себя наши глязя, обращенные совершенно на другіе предметы, пусть она насильно проникнетъ въ наше сердце, занятое совершенно другимъ. Мы обращаемся съ дѣйствительностью какъ съ докучливымъ гостемъ, напрашающимся на наше знакомство: мы стараемся запереться отъ нея. Но есть часы, когда пусто остается въ нашемъ сердцѣ отъ нашего же собственнаго невниманія къ дѣйствительности—и тогда мы обращаемся къ искусству, умоляя его наполнить эту пустоту; мы сами играемъ предъ нимъ роль заискивающаго просителя. На жизненномъ пути нашемъ разбросаны золотныя монеты; но мы не замѣчаемъ ихъ, потому что думаемъ о цѣли пути, не обращая вниманія на дорогу, лежащую

подъ нашими ногами; замѣтивъ, мы не можемъ нагнуться чтобы, собрать ихъ, потому что «телѣга жизни» неудержимо уносить насъ впередъ—вотъ наше отношеніе къ дѣйствительности; но мы прѣѣхали на станцію, и прохаживаемъ въ скучномъ ожиданіи лошадей—тутъ мы со вниманіемъ рассматриваемъ каждую жестянную бляху, которая, быть можетъ, не стоитъ и вниманія—вотъ наше отношеніе къ искусству. Не говоримъ уже о томъ, что явленія жизни каждому приходится оцѣнивать самому, потому что для каждого отдельного человѣка жизнь представляеть особенные явленія, которыхъ не видѣть другіе, надъ которыми поэту не произносить приговора цѣлое общество; а произведенія искусства оцѣнены общимъ судомъ. Красота и величие дѣйствительной жизни рѣдко являются намъ патентованными, а про что не трубить молва; то немногіе въ состояніи замѣтить и оцѣнить; явленія дѣйствительности—золотой слитокъ безъ клейма: очень многіе откажутся уже поэту одному взять его, очень многіе не отличать отъ куска мѣди; произведеніе искусства—банковый билетъ, въ которомъ очень мало внутренней цѣнности, но за условную цѣнность которого ручается все общество, которымъ поэту дорожитъ всякий и относительно которого немногіе даже сознаютъ ясно, что вся его цѣнность заимствована только отъ того, что онъ представитель золотаго куска. Когда мы смотримъ на дѣйствительность, она сама занимаетъ насъ собою, какъ нѣчто совершенно самостоятельное, и рѣдко оставляетъ намъ возможность переноситься мыслями въ нашъ субъективный міръ, въ наше прошедшее. Но когда я смотрю на произведеніе искусства,—тутъ полный просторъ моимъ субъективнымъ воспоминаніямъ, и произведеніе искусства для меня обыкновенно бываетъ только поводомъ къ сознательнымъ или бессознательнымъ мечтамъ и воспоминаніямъ. Трагическая сцена совершается предо мною въ дѣйствительности—тогда мнѣ не до того, чтобы вспоминать о себѣ; но я читаю въ романѣ эпизодъ о погибели человѣка—и въ моей памяти ясно или смутно воскресаютъ всѣ опасности, въ которыхъ я былъ самъ, всѣ случаи погибели близкихъ ко мнѣ людей. Сила искусства есть обыкновенно сила воспоминанія. Ужъ и по самой своей незаключенности, неопределенности, именно потому самому, что обыкновенно оно только «общее мѣсто», а не живой индивидуальный образъ или событие, произведеніе искусства особенно способно вызывать наши воспоминанія. Дайте мнѣ закон-

ченный портретъ человѣка—онъ не напомнить мнѣ ни одного изъ моихъ знакомыхъ, и я холодно отвернусь, сказавъ «недурно»; но покажите мнѣ въ благопріятную минуту едва набросанный, неопределенный абрисъ, въ которомъ ни одинъ человѣкъ не узнаетъ себя положительнымъ образомъ—и этотъ жалкий, слабый абрисъ напомнить мнѣ черты кого нибудь милаго мнѣ; и, холодно смотря на живое лицо, полное красоты и выразительности. Я въ упоеніи буду смотрѣть на ничтожный эскизъ, говорящій мнѣ о мнѣ самомъ. Сила искусства есть сила общихъ мѣстъ. Есть еще въ произведеніяхъ искусства сторона, по которой они въ неопытныхъ или недальновидныхъ глазахъ выше явленій жизни и дѣйствительности—въ нихъ все выставлено на показъ; объяснено самимъ авторомъ, между тѣмъ какъ природу и жизнь надобно разгадывать собственными силами. Сила искусства—сила комментарія; но обѣ этомъ должны будемъ говорить мы ниже.

Много нашли мы причинъ предпочтенія, отдаваемаго искусству передъ дѣйствительностью; но всѣ онѣ только объясняютъ, а не оправдываютъ это предпочтеніе. Не соглашаясь, чтобы искусство стояло не только выше дѣйствительности, но и наравнѣ съ нею по внутреннему достоинству содержанія или исполненія, мы, конечно, не можемъ согласиться съ господствующимъ нынѣ взглядомъ на то, изъ какихъ потребностей возникаетъ оно, въ чёмъ цѣль его существованія, его назначеніе. Господствующее мнѣніе о происхожденіи и значеніи искусства выражается такъ: «имѣя непреодолимое стремленіе къ прекрасному, человѣкъ не находить истинно-прекраснаго въ объективной дѣйствительности; этимъ онъ поставленъ въ необходимость самъ создавать предметы или произведенія, которыя соответствовали бы его требованію, предметы и явленія истинно-прекрасны». Иначе сказать: «идея прекраснаго, не осуществляемая дѣйствительностью, осуществляется произведеніями искусства». Мы должны анализировать это опредѣленіе, чтобы открыть истинное значеніе неполныхъ и одностороннихъ намековъ, въ немъ заключающихся. «Человѣкъ имѣеть стремленіе къ прекрасному»,—но если подъ прекраснымъ понимать то, что понимается въ этомъ опредѣленіи—полное согласіе идеи и формы, то изъ стремленія къ прекрасному надобно выводить не искусство въ частности, а вообще всю дѣятельность человѣка, основное начало которой—полное осуществление извѣстной мысли; стремленіе къ единству идеи и образа—

формальное начало всякой техники, стремление къ созданию и усовершенствованию всякаго произведения или издѣлія; выводя изъ стремленія къ прекрасному искусство, мы смишиваємъ два значенія этого слова: 1) изящное искусство (поэзія, музыка и т. д.) и 2) умѣніе или старанье хорошо сдѣлать что-нибудь; только послѣднее выводится изъ стремленія къ единству идеи и формы. Если же подъ прекраснымъ должно понимать (какъ намъ кажется) то, въ чемъ человѣкъ видитъ жизнь—очевидно, что изъ стремленія къ нему происходитъ радостная любовь ко всему живому и что это стремленіе въ высочайшей степени удовлетворяется живою дѣйствительностью.—«Человѣкъ не встрѣчаетъ въ дѣйствительности истиину и вполнѣ прекрасного»—мы старались доказать, что это несправедливо, что дѣятельность нашей фантазіи возбуждается не недостатками прекраснаго въ дѣйствительности, а его отсутствіемъ; что дѣйствительное прекрасное вполнѣ прекрасно, но, къ сожалѣнію нашему, не всегда бываетъ предъ нашими глазами. Еслибы произведенія искусства возникали вслѣдствіе нашего стремленія къ совершенству и пренебреженія всѣмъ несовершеннымъ, человѣкъ долженъ былъ бы давно покинуть, какъ безплодное усилие, всякое стремленіе къ искусству, потому что въ произведеніяхъ искусства неѣть совершенства; кто недоволенъ дѣйствительною красотою, тотъ еще меньше можетъ удовлетвориться красотою, создаваемою искусствомъ. Итакъ, невозможно согласиться съ обыкновеннымъ объясненіемъ значенія искусства; но въ этомъ объясненіи есть намеки, которые могутъ быть названы справедливыми, если будутъ истолкованы надлежащимъ образомъ. «Человѣкъ неудовлетворяется прекраснымъ въ дѣйствительности, ему мало этого прекраснаго—въ чемъ сущность и правдивость обыкновенного объясненія, которая, будучи понимаема, сама нуждается въ объясненіи.

Море прекрасно; смотря на него, мы не думаемъ быть имъ недовольны въ эстетическомъ отношеніи; но не всѣ люди живутъ близъ моря; многимъ не удастся ни разу въ жизни взглянуть на него; а имъ хотѣлось бы полюбоваться на море—и для нихъ являются картины, изображающія море. Конечно, гораздо лучше смотрѣть на самое море, нежели на его изображеніе; но за недостаткомъ лучшаго, человѣкъ довольствуется и худшимъ, за недостаткомъ вещи—ея суррогатомъ. И тѣмъ людямъ, которые могутъ любоваться моремъ въ дѣйствительности, не всегда, когда хочется,

можно смотрѣть на морѣ—они вспоминаютъ о немъ; но фантазія слаба, ей нужна поддержка, напоминаніе—и, чтобы оживить свои воспоминанія о морѣ, чтобы яснѣе представлять его въ своемъ воображеніи, они смотрѣть на картину, изображающую море. Вотъ единственная цель и значеніе очень многихъ (большей части) произведеній искусства: дать возможность, хотя въ нѣкоторой степени, познакомиться съ прекраснымъ въ дѣйствительности тѣмъ людямъ, которые не имѣли возможности наслаждаться имъ на самомъ дѣлѣ; служить напоминаніемъ, возбуждать и оживлять воспоминаніе о прекрасномъ въ дѣйствительности у тѣхъ людей, которые знаютъ его изъ опыта и любятъ вспоминать о немъ. (Оставляемъ пока выраженіе «прекрасное есть существенное содержаніе искусства»; впослѣдствіи мы подставимъ вмѣсто термина «прекрасное» другой, которымъ содержаніе искусства опредѣляется, по нашему мнѣнію, точнѣе и полноѣ). Итакъ, первое значеніе искусства, принадлежащее всѣмъ безъ исключенія произведеніямъ его—воспроизведеніе природы и жизни. Отношеніе ихъ къ соотвѣтствующимъ сторонамъ и явленіямъ дѣйствительности таково же, какъ отношеніе гравюры къ той картинѣ, съ которой она снята, какъ отношеніе портрета къ лицу, имъ представляемому. Гравюра снимается съ картины не потому, чтобы картина была не хороша, а именно потому, что картина очень хороша; такъ дѣйствительность воспроизводится искусствомъ не для сглаживанья недостатковъ ея, не потому, что сама по себѣ, дѣйствительность не довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не думаетъ быть лучше картины, она гораздо хуже ея въ художественномъ отношеніи; такъ и произведеніе искусства никогда не достигаетъ красоты или величія дѣйствительности; но картина одна, ею могутъ любоваться только люди, пришедши въ галлерею, которую она украшаетъ; гравюра расходится въ сотняхъ экземпляровъ по всему свѣту, каждый можетъ любоваться ею когда ему угодно, не выходя изъ своей комнаты, не вставая съ своего дивана, не скидая своего халата; такъ и предметъ прекрасный въ дѣйствительности доступенъ не всякому и не всегда, воспроизведенный (слабо, грубо, блѣдно, это правда, но все-таки воспроизведенный) искусствомъ, онъ доступенъ всякому и всегда. Портретъ снимается съ человѣка, который намъ дорогъ и милъ, не для того, чтобы сгладить недостатки его лица (что намъ за дѣло до этихъ недостатковъ? они для насъ незамѣтны или милы),

но для того, чтобы доставить намъ возможность любоваться на это лицо даже и тогда, когда на самомъ дѣлѣ оно не предъ нашими глазами; такова же цѣль и значеніе произведений искусства: они не поправляютъ дѣйствительности, не украшаютъ ее, а воспроизводятъ, служить ей суррогатомъ.

Итакъ первая цѣль искусства—воспроизведеніе дѣйствительности. Нисколько не думая, чтобы этими словами было высказано нѣчто совершенно новое въ исторіи эстетическихъ воззрѣній, мы однако же полагаемъ, что псевдоклассическая «теорія подражанія природѣ», господствовавшая въ XVII—XVIII вѣкахъ, требовала отъ искусства не того, въ чёмъ поставляется формальное начало его опредѣленіемъ, заключающемся въ словахъ: «искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности. Чтобы за существенное различіе нашего воззрѣнія на искусство отъ понятій, которыхъ имѣла о немъ теорія подражанія природѣ, ручались не наши только собственные слова, приведемъ здѣсь критику этой теоріи, заимствованную изъ лучшаго курса господствующей нынѣ эстетической системы. Критика эта съ одной стороны покажетъ различіе опровергаемыхъ ею понятій отъ нашего воззрѣнія, съ другой стороны обнаружить, чего недостаетъ въ нашемъ первомъ опредѣленіи искусства, какъ дѣятельности воспроизводящей, и такимъ образомъ послужить переходомъ къ точайшему развитію понятій объ искусствѣ.

«Въ опредѣленіи искусства какъ подражанія природѣ показывается только его формальная цѣль; оно должно по такому опредѣленію стараться по возможности повторять то, что уже существуетъ во внѣшнемъ мірѣ. Такое повтореніе должно быть признано излишнимъ, такъ какъ природа и жизнь уже представляютъ намъ то, что по этому понятію должно представить искусство. Этого мало; подражать природѣ—тщетное усиливѣ, далеко не достигающее своей цѣли, потому что, подражая природѣ, искусство, по ограниченности своихъ средствъ, даетъ только обманъ вмѣсто истины и вмѣсто дѣйствительно-живаго существа только мертвую маску».

Здѣсь прежде всего замѣтимъ, что словами: «искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности», какъ и фразою: «искусство есть подражаніе природѣ», опредѣляется только формальное начало искусства; для опредѣленія содѣржанія искусства, первый выводъ, нами сдѣланный, относительно его цѣли, долженъ быть дополненъ, и мы займемся этимъ дополненіемъ впослѣдствіи. Другое возраженіе нисколько не прилагается къ воззрѣнію, нами высказанному: изъ

предыдущаго развитія видно, что воспроизведеніе или «повтореніе» предметовъ и явлений природы искусствомъ—дѣло вовсе не излишнее, напротивъ, необходимое. Переходя къ замѣчанію, что это повтореніе—тщетное усиленіе, далекое не достигающее своей цѣли, надоѣно сказать, что подобное возраженіе имѣть силу только въ томъ случаѣ, когда предполагается, будто бы искусство хочетъ соперничать съ дѣйствительностью, а не просто быть ея суррогатомъ. Но мы именно то и утверждаемъ, что искусство не можетъ выдержать сравненія съ живою дѣйствительностью и вовсе не имѣть той жизненности, какъ реальная дѣйствительность; это мы признаемъ несомнѣннымъ. Итакъ справедливо, что фраза: «искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности» должна быть дополнена для того, чтобы быть всестороннимъ опредѣленіемъ; не исчерпывая въ этомъ видѣ все содержаніе опредѣляемаго понятія, опредѣленіе однако вѣрно, и возраженія противъ него пока могутъ быть основаны только на затаенномъ требованіи, чтобы искусство являлось по своему опредѣленію выше, совершеннѣе дѣйствительности; объективную неосновательность этого предположенія мы старались доказать, и потомъ обнаружили его субъективныя основанія. Посмотримъ, прилагаются ли къ нашему воззрѣнію дальнѣйшія возраженія противъ теоріи подражанія.

«При невозможности полнаго успѣха въ подражаніи природѣ, оставалось бы только самодовольное наслажденіе относительнымъ успѣхомъ этого фокусъ-покуса, но и это наслажденіе становится тѣмъ холоднѣе, чѣмъ больше бываетъ наружное сходство копіи съ оригиналомъ, и даже обращается въ пресыщеніе или отвращеніе. Есть портреты похожіе на оригиналъ, какъ говорится, до отвратительности. Намъ тогтась же становится скучнымъ и отвратительнымъ превосходѣйшее подражаніе пѣнью словъ, какъ скоро мы узнаемъ, что это не въ самомъ дѣлѣ пѣніе словъ, а подражаніе ему какого-нибудь искусника, выдѣльзывающаго словесныя трели, потому что отъ человѣка мы въ правѣ требовать не такой музыки. Подобные фокусы искусственнаго подражанія природѣ можно сравнить съ искусствомъ того фокусника, который безъ промаха бросалъ чечевичные зерна сквозь отверстія величиною также не болѣе чечевичнаго зерна, и котораго Александръ Великій наградилъ медимномъ чечевицы».

Эти замѣчанія совершенно справедливы; но относятся къ бесполезному и безсмысленному копированию содержанія, недостойнаго вниманія, или рисованью пустой внѣшности, обнаженной отъ содержанія. (Сколько превозносимыхъ произведеній искусства подпадаютъ этой горькой, но заслуженной насмѣшкѣ)! Содержаніе, достойное

вниманія мыслящаго человѣка, одно только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будто бы оно—пустая забава, чѣмъ оно и дѣйствительно бываетъ чрезвычайно часто: художественная форма не спасетъ отъ презрѣнія или сострадательной улыбки произведеніе искусства, если оно важностью своей идеи не въ состояніи дать отвѣта на вопросъ: «да стоило-ли трудиться надъ подобными пустяками?» Безполезное не имѣть права на уваженіе. «Человѣкъ самъ себѣ пѣль»; но дѣла человѣка должны имѣть пѣль въ потребностяхъ человѣка, а не въ самихъ себѣ. Потому-то бесполезное подражаніе и возбуждаетъ тѣмъ большее отвращеніе, чѣмъ совершиеннѣе вѣнѣніе сходство: «зачѣмъ потрачено столько времени и труда?» думаемъ мы, глядя на него: «и какъ жаль, что такая несостоительность относительно содержанія можетъ совмѣщаться съ такимъ совершенствомъ въ техникѣ!» Скука и отвращеніе, возбуждаемыя фокусникомъ, подражающими соловьевиному пѣнію, объясняются самыми замѣчаніями, сопровождающими въ критикѣ указаніе на него: жалокъ человѣкъ, который не понимаетъ, что долженъ пѣть человѣческую пѣснь, а не выдѣлывать безмысленные трели. Что касается портретовъ, сходныхъ до отвратительности, это надо по-нимать такъ: всякая копія, для того, чтобы быть вѣрною, должна передавать существенные черты подлинника; портретъ не передающій главныхъ, выразительнѣйшихъ чертъ лица невѣренъ; а когда мелочныя подробности лица переданы при этомъ отчетливо, лицо на портретѣ выходитъ обезображеніемъ, безмысленнымъ, мертвымъ—какъ же ему не быть отвратительнымъ? Часто возстаютъ противъ такъ называемаго «дегерротипного копированія» дѣйствительности—не лучше ли было бы говорить только, что копировка, также какъ и всякое человѣческое дѣло, требуетъ пониманія, способности отличать существенные черты отъ несущественныхъ? «Мертвая копировка»—вотъ обыкновенная фраза; но человѣкъ не можетъ скопировать вѣрно, если мертвѣнность механизма не направляется живымъ смысломъ: нельзя сдѣлать даже вѣрнаго fac-simile, не понимая значенія копируемыхъ буквъ.

Прежде, нежели перейдемъ къ опредѣленію существеннаго со-держанія искусства, чѣмъ дополнится принимаемое нами опредѣ-леніе его формальнаго начала, считаемъ нужнымъ высказать нѣ-сколько ближайшихъ указаний объ отношеніи теоріи «воспроизве-денія» къ теоріи такъ называемаго «подражанія». Воззрѣніе на

искусство, нами принимаемое, проистекает изъ воззрѣнїй, принимаемыхъ новѣйшими нѣмецкими эстетиками и возникаетъ изъ нихъ чрезъ діалектическій процессъ, направлениe которого опредѣляется общими идеями современной науки. Итакъ, непосредственнымъ образомъ оно связано съ двумя системами идей — начала нынѣшняго вѣка съ одной стороны, послѣднихъ десятилѣтій съ другой. Всякое другое соотношеніе — только простое сходство, не имѣющее генетического вліянія. Но если понятіе древнихъ и старинныхъ мыслителей не могутъ при настоящемъ развитіи науки имѣть вліянія на современный образъ мыслей, то нельзѧ не видѣть, что во многихъ случаяхъ современные понятія оказываются сходны съ понятіями предшествующихъ вѣковъ. Особенно часто сходятся они съ понятіями греческихъ мыслителей. Таково положеніе дѣла и въ настоящемъ случаѣ. Определеніе формального начала искусства, нами принимаемое, сходно съ воззрѣніемъ, господствовавшимъ въ греческомъ мірѣ, и находимымъ у Платона, Аристотеля, и, по всей вѣроятности, высказаннымъ у Демокрита. Ихъ мѣтко соотвѣтствуетъ нашему термину «воспроизведеніе». И если позднѣе понимали это слово какъ «подражаніе» (*Nachahmung*), то переводъ не былъ удаченъ, стѣсняя кругъ понятія и пробуждая мысль о поддѣлкѣ подъ вицѣнную форму, а не о передачѣ внутренняго содержанія. Псевдо-классическая теорія дѣйствительно понимала искусство какъ поддѣлку подъ дѣйствительность съ цѣлью обмануть чувства; но это — злоупотребленіе, принадлежащее только эпохамъ испорченного вкуса.

Теперь мы должны дополнить выставленное нами выше опредѣленіе искусства и отъ разсмотрѣнія формального начала искусства перейти къ опредѣленію его содержанія.

Обыкновенно говорятъ, что содержаніе искусства есть прекрасное; но этимъ слишкомъ стѣсняется сфера искусства. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое — моменты прекраснаго, то множество произведений искусства не подойдутъ по содержанію подъ эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое. Въ живописи не подходятъ подъ эти подраздѣленія картины домашней жизни, въ которыхъ нѣть ни одного прекраснаго или смѣшнаго лица, изображеніе старика или старухи, не отличающихся особенностью старческою красотою и т. д. Въ музыкѣ еще труднѣе провести обыкновенные подраздѣленія: если отнесемъ марши, патетическія пьесы и т. д. къ отдельу величественнаго; если пьесы, дышащія лю-

бовью или веселостью, причислимъ къ отдѣлу прекраснаго; если отыщемъ много комическихъ пьесъ, то у насъ еще останется огромное количество пьесъ, которая по своему содержанію не могутъ быть безъ натяжки причислены ни къ одному изъ этихъ родовъ: куда отнести грустные мотивы? неужели къ возвышенному, какъ страданіе? или къ прекрасному, какъ нѣжныя мечты? Но изъ всѣхъ искусствъ наиболѣе противится подведенію своего содержанія подъ тѣсныя рубрики прекраснаго и его моментовъ поэзія. Область ея—вся область жизни и природы; точки зрѣнія поэта на жизнь въ разнообразныхъ ея проявленіяхъ такъ же разнообразны, какъ понятія мыслителя объ этихъ разнохарактерныхъ явленіяхъ; а мыслитель находить въ дѣйствительности очень многое, кромѣ прекраснаго, возвышенного и комического. Не всякое горе доходитъ до трагизма; не всякая радость граціозна или комична. Что содержаніе поэзіи не исчерпывается тремя извѣстными элементами, вѣнчаниемъ образомъ видимъ изъ того, что ея произведенія перестали вмѣщаться въ рамки старыхъ подраздѣленій. Что драматическая поэзія изображаетъ не одно трагическое или комическое, доказывается тѣмъ, что кромѣ комедіи и трагедіи должна явиться драма. Вместо эпоса, по преимуществу возвышенного, явился романъ, съ безчисленными своими родами. Для большей части нынѣшнихъ лирическихъ пьесъ не отыскивается въ старыхъ подраздѣленіяхъ заглавія, которое могло бы обозначить характеръ содержанія: недостаточны сотни рубрикъ, тѣмъ менѣе можно сомнѣваться, что не могутъ всего обнять три рубрики (мы говоримъ о характерѣ содержанія, а не формѣ, которая всегда должна быть прекрасна).

Проще всего рѣшить эту запутанность, сказавъ, что сфера искусства не ограничивается однимъ прекраснымъ и его такъ называемыми моментами, а обнимаетъ собою все, что въ дѣйствительности (въ природѣ и въ жизни) интересуетъ человѣка, не какъ ученаго, а просто какъ человѣка; общепривлекательное въ жизни—вотъ содержаніе искусства. Прекрасное, трагическое, комическое—только три наиболѣе определенные элемента изъ тысячи элементовъ, отъ которыхъ зависитъ интересъ жизни и перечислить которые значило бы перечислить всѣ чувства, всѣ стремленія, отъ которыхъ можетъ волноваться сердце человѣка. Едвали надобно вдаваться въ болѣе подробныя доказательства принимаемаго нами понятія о содержаніи искусства; потому что, если въ эстетикѣ предлагается

обыкновенно другое, болѣе тѣсное опредѣленіе содержанія, то взглядъ, нами принимаемый, господствуетъ на самомъ дѣлѣ, т. е. въ самихъ художникахъ и поэтахъ, постоянно высказывается въ литературѣ и въ жизни. Если считаютъ необходимостью опредѣлять прекрасное какъ преимущественное и, выражаясь точнѣ, какъ единственное существенное содержаніе искусства, то истинная причина этого скрывается въ неясномъ различіи прекраснаго, какъ объекта искусства, отъ прекрасной формы, которая дѣйствительно составляетъ необходимое качество всякаго произведенія искусства. Но эта формальная красота или единство идеи и образа, содержанія и формы, не специальная особенность, которая отличала бы искусство отъ другихъ отраслей человѣческой дѣятельности. Дѣйствованіе человѣка всегда имѣть цѣль, которая составляетъ сущность дѣла; по мѣрѣ соотвѣтствія нашего дѣла съ цѣлью, которую мы хотѣли осуществить имъ, цѣнится достоинство самаго дѣла; по мѣрѣ совершенства выполненія оцѣнивается всякое человѣческое произведеніе. Это общий законъ и для ремесль, и для промышленности, и для научной дѣятельности и т. д. Онъ примѣняется и къ произведеніямъ искусства: художникъ (сознательно или бессознательно, все равно) стремится воспроизвести предъ нами известную сторону жизни—само собою разумѣется, что достоинство его произведенія будетъ зависѣть отъ того, какъ онъ выполнилъ свое дѣло. «Произведеніе искусства стремится къ гармоніи идеи съ образомъ» ни больше, ни менѣе, какъ произведеніе сапожнаго мастерства, ювелирного ремесла, каллиграфіи, инженерного искусства, нравственной рѣшимости. «Всякое дѣло должно быть хорошо выполнено»—вотъ смыслъ фразы: «гармонія идеи и образа». Итакъ 1) прекрасное какъ единство идеи и образа вовсе не характеристическая особенность искусства въ томъ смыслѣ, какой придается этому слову эстетикою; 2) «единство идеи и образа» опредѣляетъ одну формальную сторону искусства, нисколько не относясь къ его содержанію; оно говорить о томъ, какъ должно быть исполнено, а не о томъ, что исполняется. Но мы уже замѣтили, что въ этой фразѣ важно слово «образъ»—оно говорить о томъ, что искусство выражаетъ идею не отвлеченными понятіями, а живымъ индивидуальнымъ фактомъ; говоря: «искусство есть воспроизведеніе природы и жизни», мы говоримъ то же самое: въ природѣ и жизни нѣть ничего отвлеченно существующаго; въ нихъ все конкретно; воспроизведеніе

должно по мѣрѣ возможности сохранять сущность воспроизведенаго; потому созданіе искусства должно стремиться къ тому, чтобы въ немъ было какъ можно меньше отвлеченнаго, чтобы въ немъ все было, по мѣрѣ возможности, выражено конкретно, въ живыхъ картинахъ, въ индивидуальныхъ образахъ. (Совершенно другой вопросъ: можетъ ли искусство достичь этого вполнѣ? Живопись, скульптура и музыка достигаютъ; поэзія не всегда можетъ и не всегда должна слишкомъ заботиться о пластичности подробностей: довольно и того, когда вообще, въ цѣломъ, произведеніе поэзіи пластично; излишнія хлопоты о пластической отдѣлкѣ подробностей могутъ повредить единству цѣлого, слишкомъ рельефно очертивъ его части, и, что еще важнѣе, будуть отвлекать вниманіе художника отъ существеннѣйшихъ сторонъ его дѣла). Красота формы, состоящая въ единствѣ идеи и образа, общая принадлежность не только искусства (въ эстетическомъ смыслѣ слова), но и всякаго человѣческаго дѣла, совершенно отлична отъ идеи прекраснаго, какъ объекта искусства, какъ предмета нашей радостной любви въ дѣйствительномъ мірѣ. Смѣщеніе красоты формы, какъ необходимаго качества художественного произведенія, и прекраснаго, какъ одного изъ многихъ объектовъ искусства, было одною изъ причинъ печальныхъ злоупотребленій въ искусствѣ. «Предметъ искусства—прекрасное», прекрасное, во что бы то ни стало, другаго содержанія нѣтъ у искусства. Что же прекраснѣе всего на свѣтѣ? Въ человѣческой жизни—красота и любовь; въ природѣ—трудно и решить, что именно—такъ много въ ней красоты. Итакъ надобно кстати и не кстати наполнять поэтическія созданія описаніями природы: чѣмъ больше ихъ, тѣмъ больше прекраснаго въ нашемъ произведеніи. Но красота и любовь еще прекраснѣе—и вотъ (большею частью совершенно не кстати) на первомъ планѣ драмы, повѣсти, романа и т. д. является любовь. Неумѣстныя распространенія о красотахъ природы еще не такъ вредны художественному произведенію: ихъ можно выпускать, потому что они приклеиваются вѣшнимъ образомъ; но что дѣлать съ любовною интригою? ее невозможно опустить изъ вниманія, потому что къ этой основѣ все приплетено гордѣвыми узлами, безъ нея все теряетъ связь и смыслъ. Не говоримъ уже о томъ, что влюбленная чета, страдающая или торжествующая, придаетъ цѣлымъ тысячамъ произведеній ужасающую монотонность; не говоримъ и о томъ, что эти любовныя приключения и описанія красоты

отнимаютъ мѣсто у существенныхъ подробностей; этого мало: привычка изображать любовь, любовь и вѣчно любовь, заставляетъ поэтовъ забывать, что жизнь имѣть другія стороны, гораздо болѣе интересующія человѣка вообще; вся поэзія и вся изображаемая въ ней жизнь принимаетъ какой-то сентиментальный розовый колоритъ; вмѣсто серъезнаго изображенія человѣческой жизни произведенія искусства представляютъ какой-то слишкомъ юный (чтобы удержаться отъ болѣе точныхъ эпитетовъ) взглядъ на жизнь, и поэтъ является обыкновенно молодымъ, очень молодымъ юношою, котораго разсказы интересны только для людей того же нравственнаго или физиологическаго возраста. Это наконецъ роняетъ искусство въ глазахъ людей, уже вышедшихъ изъ счастливой поры ранней юности; искусство кажется имъ забавою, приторною для развитыхъ людей и не совсѣмъ безопасною для молодежи. Мы вовсе не думаемъ запрещать поэту описывать любовь; но эстетика должна требовать, чтобы поэтъ описывалъ любовь только тогда, когда хочетъ именно ее описывать: къ чему выставлять на первомъ планѣ любовь, когда дѣло идетъ, собственно говоря, вовсе не о ней, а о другихъ сторонахъ жизни? къ чему, напримѣръ, любовь на первомъ планѣ въ романахъ, которые собственно изображаютъ быть извѣстнаго народа въ данную эпоху, или быть извѣстныхъ классовъ народа? Въ исторіи, въ психологіи, въ этнографическихъ сочиненіяхъ также говорится о любви — но только на свою мѣстѣ, точно такъ же какъ и обо всемъ. Исторические романы Вальтеръ-Скотта основаны на любовныхъ приключеніяхъ — къ чему это? развѣ любовь была главнымъ занятіемъ общества и главною двигательницей событий въ изображаемыя имъ эпохи? «Но романы Вальтеръ-Скотта устарѣли» — точно такъ же кстати и не кстати наполнены любовью романы Диккенса и романы Жоржъ-Занда изъ сельскаго быта, въ которыхъ опять дѣло идетъ вовсе не о любви. «Пишите о томъ, о чёмъ вы хотите писать», — правило, которое рѣдко рѣшаются соблюдать поэты. Любовь кстати и не кстати — первый вредъ, пристекающій для искусства изъ понятія, что «содержаніе искусства — прекрасное»; второй, тѣсно съ нимъ соединенный — искусственность. Въ наше время подсмѣиваются надъ Расиномъ и мадамъ Дезулльеръ; но едвали современное искусство далеко ушло отъ нихъ въ отношеніи простоты и естественности пружинъ дѣйствія и безъискусственной натуральности рѣчей; раздѣленіе дѣйствующихъ лицъ на

героевъ и злодѣевъ до сихъ поръ можетъ быть прилагаемо къ произведеніямъ искусства въ патетическомъ родѣ; какъ связно, плавно, краснорѣчиво объясняются эти лица! монологи и разговоры въ современныхъ романахъ немногимъ ниже монологовъ классической трагедіи: «въ художественномъ произведеніи все должно быть облечено красотою»—и намъ даются такие глубоко обдуманные планы дѣйствованія, какихъ почти никогда не составляютъ люди въ настоящей жизни; а если выводимое лицо сдѣлаетъ какъ нибудь инстинктивный, необдуманный шагъ, авторъ считаетъ необходимымъ оправдывать его изъ сущности характера этого лица, а критики остаются недовольны тѣмъ, что «дѣйствіе не мотивировано»—какъ будто бы оно мотивируется всегда индивидуальнымъ характеромъ, а не обстоятельствами и общими качествами человѣческаго сердца. «Красота требуетъ законченности характеровъ» — и вмѣсто лицъ живыхъ, разнообразныхъ при всей своей типичности, искусство даетъ неподвижныя статуи. «Красота художественного произведенія требуетъ законченности разговоровъ» — и вмѣсто живаго разговора ведутся искусственные бесѣды, въ которыхъ разговаривающіе волею и неволею высказываютъ свой характеръ. Слѣдствіемъ всего этого бываетъ монотонность произведеній поэзіи: люди всѣ на одинъ ладъ, событія развиваются по извѣстнымъ рецептамъ, съ первыхъ страницъ видно, что будетъ дальше, и не только, что будетъ, но и какъ будетъ. Возвращаясь однако къ вопросу о существенномъ значеніи искусства.

Первое и общее значеніе всѣхъ произведеній искусства, сказали мы,—воспроизведеніе интересныхъ для человѣка явлений дѣйствительной жизни. Подъ дѣйствительную жизнью конечно понимаются не только отношенія человѣка къ предметамъ и существамъ объективнаго міра, но и внутренняя жизнь человѣка; иногда человѣкъ живеть мечтами—тогда мечты имѣютъ для него (до нѣкоторой степени и на нѣкоторое время) значеніе чего-то объективнаго; еще чаще человѣкъ живеть въ мірѣ своего чувства; эти состоянія, если достигаютъ интересности, также воспроизводятся искусствомъ. Мы упомянули объ этомъ, чтобы показать, какъ нашимъ опредѣленіемъ обнимается и фантастическое содержаніе искусства.

Но мы говорили выше, что кромѣ воспроизведенія, искусство имѣть еще другое значеніе—объясненіе жизни; до нѣкоторой степени это доступно всѣмъ искусствамъ: часто достаточно обратить

вниманіе на предметъ (что всегда и дѣлаетъ искусство), чтобы объяснить его значеніе или заставить лучше понять жизнь. Въ этомъ смыслѣ искусство ничѣмъ не отличается отъ разсказа о предметѣ; различие только въ томъ, что искусство вѣрѣю достигаетъ своей цѣли, нежели простой разсказъ, тѣмъ болѣе ученый разсказъ: подъ формою жизни мы гораздо легче знакомимся съ предметомъ, гораздо скорѣе начинаемъ интересоваться имъ, нежели тогда, когда находимъ сухое указание на предметъ. Романы Купера болѣе, нежели этнографические рассказы и разсужденія о важности изученія быта дикарей, познакомили общество съ ихъ жизнью. Но если всѣ искусства могутъ указывать новые интересные предметы, то поэзія всегда по необходимости указываетъ рѣзкимъ и яснымъ образомъ на существенные черты предмета. Живопись воспроизводить предметъ со всѣми подробностями, скульптура также; поэзія не можетъ обнять слишкомъ много подробностей и, по необходимости выпуская изъ своихъ картинъ очень многое, сосредоточиваетъ наше вниманіе на удержаныхъ чертахъ. Въ этомъ видятъ преимущество поэтическихъ картинъ предъ дѣйствительностью;—но то же самое дѣлаетъ и каждое отдельное слово съ своимъ предметомъ: въ словѣ (въ понятіи) также выпущены всѣ случайныя и оставлены однѣ существенные черты предмета; можетъ быть, для неопытного соображенія, слово яснѣе самого предмета; но это уясненіе есть только ослабленіе. Мы не отрицаемъ относительной пользы компендіумовъ; но не думаемъ, чтобы Русская исторія Таппіе, очень полезная для дѣтей, была лучше Исторіи Карамзина, изъ которой извлечена. Предметъ или событие въ поэтическомъ произведеніи можетъ быть удобопонятнѣе, нежели въ самой дѣйствительности; но мы признаемъ за нимъ только достоинство живаго и яснаго указанія на дѣйствительность, а не самостоятельное значеніе, которое могло бы соперничествовать съ полнотою дѣйствительной жизни. Нельзя не прибавить, что всакій прозаический разсказъ дѣлаетъ то же самое, что поэзія. Сосредоточеніе существенныхъ чертъ не есть характеристическая особенность поэзіи, а общее свойство разумной рѣчи.

Существенное значение искусства — воспроизведеніе того, чѣмъ интересуется человѣкъ въ дѣйствительности. Но интересуясь явленіями жизни, человѣкъ не можетъ, сознательно или безсознательно, не произносить о нихъ своего приговора; поэтъ или художникъ, не будучи въ состояніи перестать быть человѣкомъ вообще, не мо-

жеть, еслибъ и хотѣль, отказаться отъ произнесенія своего приговора надъ изображаемыми явленіями; приговоръ этотъ выражается въ его произведеніи—воть новое значеніе произведеній искусства, по которому искусство становится въ число нравственныхъ дѣятельностей человѣка. Бываютъ люди, у которыхъ сужденіе о явленіяхъ жизни состоить почти только въ томъ, они обнаруживаютъ расположение къ извѣстнымъ сторонамъ дѣйствительности и избѣгаютъ другихъ — это люди, у которыхъ умственная дѣятельность слаба; когда подобный человѣкъ — поэтъ или художникъ, его произведенія не имѣютъ другаго значенія, кроме воспроизведенія любимыхъ имъ сторонъ жизни. Но если человѣкъ, въ которомъ умственная дѣятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюденіемъ жизни, одаренъ художническимъ талантомъ, то въ его произведеніяхъ, сознательно или бессознательно, выразится стремленіе произнести живой приговоръ о явленіяхъ, интересующихъ его (и его современниковъ, потому что мыслящій человѣкъ не можетъ мыслить надъ ничтожными вопросами, никому кроме его неинтересными), будуть предложены или разрѣшены вопросы, возникающіе изъ жизни для мыслящаго человѣка; его произведенія будутъ, чтобы такъ выразиться, сочиненіями на темы, предлагаемыя жизнью. Это направлѣніе можетъ находить себѣ выраженіе во всѣхъ искусствахъ (напр., въ живописи можно указать на картины Гогарта); но преимущественно развивается оно въ поэзіи, которая представляетъ полнѣйшую возможность выразить опредѣленную мысль. Тогда художникъ становится мыслителемъ, и произведеніе искусства, оставаясь въ области искусства, приобрѣтаетъ значеніе научное. Само собою разумѣется, что въ этомъ отношеніи произведенія искусства не находятъ себѣ ничего соотвѣтствующаго въ дѣйствительности,—но только по формѣ: что касается до содержанія, до самыхъ вопросовъ, предлагающихся или разрѣшаемыхъ искусствомъ, они все найдутся въ дѣйствительной жизни, только безъ преднарѣнности, безъ *argièr—pensée*. Предположимъ, что въ произведеніи искусства развивается мысль: «временное уклоненіе отъ прямаго пути не погубить сильной натуры»; или «одна крайность вызываетъ другую»; или изображается распаденіе человѣка съ самимъ собою; или, если угодно, борьба страстей съ высшими стремленіями (мы указываемъ различныхъ основныхъ идеи, которыя видѣли въ «Фаустѣ») — развѣ не представляются въ дѣй-

ствительной жизни случаи, въ которыхъ развивается то же самое положеніе? Развѣ изъ наблюденія жизни не выводится высокая мудрость? Развѣ наука не есть простое отвлеченіе жизни, подведеніе жизни подъ формулы? Все, что высказывается наукой и искусствомъ, найдется въ жизни, и найдется въ полнѣйшемъ, совершившемся видѣ, со всѣми живыми подробностями, въ которыхъ обыкновенно и лежитъ истинный смыслъ дѣла, который часто не понимаются наукой и искусствомъ, еще чаще не могутъ быть ими обняты; въ дѣйствительной жизни все вѣрно, нѣтъ недосмотровъ, нѣтъ односторонней узкости взгляда, которою страждеть всякое человѣческое произведеніе,—какъ поученіе, какъ наука, жизнь полнѣе, правдивѣе, даже художественнѣе всѣхъ твореній учёныхъ и поэтовъ. Но жизнь не думаетъ объяснять намъ своихъ явлений, не заботится о выводѣ аксиомъ; въ произведеніяхъ науки и искусства это сдѣлано; правда, выводы неполны, мысли односторонни въ сравненіи съ тѣмъ, что представляетъ жизнь; но ихъ извлекли для насъ гениальные люди; безъ ихъ помощи наши выводы были бы еще одностороннѣе, еще бѣднѣе. Наука и искусство (поэзія)—«Handbuch» для начинающаго изучать жизнь; ихъ значеніе—приготовить къ чтенію источниковъ и потомъ отъ времени до времени служить для справокъ. Наука не думаетъ скрывать этого; не думаютъ скрывать этого и поэты въ бѣглыхъ замѣчаніяхъ о сущности своихъ произведеній; одна эстетика продолжаетъ утверждать, что искусство выше жизни и дѣйствительности.

Соединяя все сказанное, получимъ слѣдующее воззрѣніе на искусство: существенное значеніе искусства—воспроизведеніе всего, что интересно для человѣка въ жизни; очень часто, особенно въ произведеніяхъ поэзіи, выступаетъ также на первый планъ объясненіе жизни, приговоръ о явленіяхъ ея. Искусство относится къ жизни совершенно такъ же, какъ исторія; различіе по содержанію только въ томъ, что исторія говорить о жизни человѣчества, искусство о жизни человѣка, исторія о жизни общественной, искусство о жизни индивидуальной. Первая задача исторіи—воспроизвести жизнь; вторая, исполняемая не всѣми историками — объяснить ее; не заботясь о второй задачѣ, историкъ остается простымъ лѣтописцемъ, и его произведеніе только матеріаль для настоящаго историка или чтеніе для удовлетворенія любопытства; думая о второй задачѣ, историкъ становится мыслителемъ, и его твореніе при-

обрѣаетъ чрезъ это научное достоинство. Совершенно то же самое надобно сказать объ искусствѣ. Исторія не думаетъ соперничествовать съ дѣйствительною исторической жизнью, сознается, что ея картины блѣдны, неполны, болѣе или менѣе невѣрны или по крайней мѣрѣ односторонни. Эстетика также должна признать, что искусство точно такъ же и по тѣмъ же самымъ причинамъ не должно и думать сравниться съ дѣйствительностью, тѣмъ болѣе превзойти ее красотою.

Но гдѣ же творческая фантазія при такомъ возврѣніи на искусство? какая же роль предоставляетъ ей? Не будемъ говорить о томъ, откуда проистекаетъ въ искусствѣ право фантазіи видоизмѣнять видѣнное и слышанное поэтомъ. Это ясно изъ цѣли поэтическаго созданія, отъ которого требуетъ вѣрное воспроизведеніе извѣстной стороны жизни, а не какого-нибудь отдельного случая; посмотримъ только, въ чёмъ необходимость вмѣшательства фантазіи, какъ способности передѣлывать (посредствомъ комбинаціи) воспринятое чувствами и создавать нечто новое по формѣ. Предполагаемъ, что поэтъ беретъ изъ опыта собственной жизни событие, вполнѣ ему извѣстное (это случается не часто; обыкновенно многія подробности остаются мало извѣстны, и для связности рассказа должны быть дополнены соображеніемъ); предполагаемъ также, что взятое событие совершенно закончено въ художественномъ отношеніи, такъ что простой разскажь о немъ былъ бы вполнѣ художественнымъ произведеніемъ, т. е. беремъ случай, когда вмѣшательство комбинирующей фантазіи кажется наименѣе нужнымъ.—Какъ бы сильна ни была память, она не въ состояніи удержать всѣхъ подробностей, особенно тѣхъ, которыхъ неважны для сущности дѣла; но многія изъ нихъ нужны для художественной полноты разскажа, и должны быть заимствованы изъ другихъ сценъ, оставшихся въ памяти поэта (напр. веденіе разговора, описание мѣстности и т. д.)—правда, что дополненіе события этими подробностями еще нисколько не измѣняетъ его, и различие художественного разскажа отъ передаваемаго въ немъ события ограничивается пока одною формою. Но этимъ не исчерпывается вмѣшательство фантазіи. Событие въ дѣйствительности было перепутано съ другими событиями, находившимися съ нимъ только во внѣшнемъ сцѣпленіи, безъ существенной связи; но когда мы будемъ отдѣлять избранное нами событие отъ другихъ происшествій и отъ ненуж-

ныхъ эпизодовъ, мы увидимъ, что это отдаленіе оставить новые проблемы въ жизненной полнотѣ разсказа; поэту опять должна будеть восполнитьъ ихъ. Это мало; отдаленіе не только отнимаетъ жизненную полноту у многихъ моментовъ событія, но часто измѣняетъ ихъ характеръ—и событіе явится въ разсказѣ уже не такимъ, каково было въ дѣйствительности, или, для сохраненія сущности его, поэту принужденъ будеть измѣнить многія подробности, которыя имѣютъ истинный смыслъ въ событіи только при его дѣйствительной обстановкѣ, отнимаемой изолирующими разсказомъ. Какъ видимъ, кругъ дѣятельности творческихъ силъ поэта очень мало стѣсняется нашими понятіями о сущности искусства. Но предметъ нашего изслѣдованія—искусство, какъ объективное произведеніе, а не субъективная дѣятельность поэта; потому было бы неумѣстно вдаваться въ исчисленіе различныхъ отношеній поэта къ материаламъ его произведенія: мы показали одно изъ этихъ отношеній, наименіе благопріятствующее самостоятельности поэта. и нашли, что при нашемъ возврѣніи на сущность искусства, художникъ и въ этомъ положеніи не теряетъ существенного характера, принадлежащаго не поэту или художнику въ частности, а вообще человѣку во всей его дѣятельности,—того существеннѣйшаго человѣческаго права и качества, чтобы смотрѣть на объективную дѣйствительность только какъ на материалъ, только какъ на поле своей дѣятельности, и, пользуясь ею, подчинять ее себѣ. Еще обширнѣе кругъ вмѣшательства комбинирующей фантазіи при другихъ обстоятельствахъ: когда, напримѣръ, поэту не вполнѣ известны подробности событія, когда онъ знаетъ о немъ, (и дѣйствующихъ лицахъ) только по чужимъ рассказамъ, всегда одностороннимъ, невѣрнымъ или неполнымъ въ художественномъ отношеніи, по крайней мѣрѣ съ личной точки зреінія поэта. Но необходимость комбинировать и видоизмѣнять проистекаетъ не изъ того, чтобы дѣйствительная жизнь не представляла (и въ гораздо лучшемъ видѣ) тѣхъ явлений, которыхъ хочетъ изобразить поэты или художники; а изъ того, что картина дѣйствительной жизни принадлежитъ не той сферѣ бытія, какъ дѣйствительная жизнь; различіе рождается отъ того, что поэты не располагаютъ тѣми средствами, какими располагаетъ дѣйствительная жизнь. При переложеніи оперы для фортепьяно теряется большая и лучшая часть подробностей и эффектовъ; многое рѣшительно не можетъ быть съ человѣческаго голоса или съ полнаго оркестра

передено на жалкий, блѣдный, мертвый инструментъ, который долженъ по мѣрѣ возможности воспроизвести оперу; потому при аранжировкѣ многое должно быть передѣльваемо; многое дополняемо—не съ тою надеждою, что въ аранжировкѣ опера выйдетъ лучше, нежели въ первоначальномъ своемъ видѣ, а для того, чтобы сколько-нибудь вознаградить необходимую порчу оперы при аранжировкѣ; не потому, чтобы аранжировщикъ исправлялъ ошибки композитора, а просто потому, что онъ не располагаетъ тѣми средствами, какими владѣеть композиторъ. Еще больше различія въ средствахъ дѣйствительной жизни и поэта. Переводчикъ поетического произведения съ одного языка на другой до нѣкоторой степени долженъ передѣльвать переводимое произведение; какъ же не являться необходимости передѣлкѣ при переводѣ событія съ языка жизни на скучный, блѣдный, мертвый языкъ поэзіи?

Апологія дѣйствительности сравнительно съ фантазіею, стремленіе доказать, что произведенія искусства рѣшительно не могутъ выдержать сравненія съ живою дѣйствительностью, вотъ сущность этого разсужденія.—Говорить объ искусствѣ такъ, какъ говорить авторъ, не значить ли унижать искусство?—Да, если показывать, что искусство и иже дѣйствительной жизни по художественному совершенству своихъ произведеній, значитъ унижать искусство; но возставать противъ панегириковъ не значитъ еще быть хулителемъ. Наука не думаетъ быть выше дѣйствительности; это не стыдъ для нея. Искусство также не должно думать быть выше дѣйствительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цѣль ея—понять и объяснить дѣйствительность, потомъ применить ко благу человѣка свои объясненія; пусть и искусство не стыдится признаться, что цѣль его: для вознагражденія человѣка въ случаѣ отсутствія вполнѣшаго эстетического наслажденія, доставляемаго дѣйствительностью, воспроизвести, по мѣрѣ силъ, эту драгоценную дѣйствительность и ко благу человѣка объяснить ее.

Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемъ: въ случаѣ отсутствія дѣйствительности быть нѣкоторою замѣною ея и быть для человѣка учебникомъ жизни.

Дѣйствительность выше мечты, и существенное значеніе выше фантастическихъ притязаній.

Задачею автора было изслѣдоватъ вопросъ объ эстетическихъ отношеніяхъ произведеній искусства къ явленіямъ жизни, разсмотрѣть справедливость господствующаго мнѣнія, будто бы истинно-прекрасное, которое принимается существеннымъ содержаніемъ произведеній искусства, не существуетъ въ объективной дѣйствительности и осуществляется только искусствомъ. Съ этой вопросомъ неразрывно связаны вопросы о сущности прекраснаго и о содержаніи искусства. Изслѣдованіе вопроса о сущности прекраснаго привело автора къ убѣжденію, что прекрасное есть—жизнь. Послѣ такого рѣшенія надобно было изслѣдоватъ понятія возвышенного и трагического, которыхъ, по обыкновенному опредѣленію прекраснаго, подходить подъ него, какъ моменты; и надобно было признать, что возвышенное и прекрасное—неподчиненные другъ другу предметы искусства. Это уже было важнымъ пособіемъ для рѣшенія вопроса о содержаніи искусства. Но если прекрасное есть жизнь, то самъ собою рѣшается вопросъ объ эстетическомъ отношеніи прекраснаго въ искусствѣ къ прекрасному въ дѣйствительности. Пришедши къ выводу, что искусство не можетъ быть обязано своимъ происхожденіемъ недовольству человѣка прекраснымъ въ дѣйствительности, мы должны были отыскивать, вслѣдствіе какихъ потребностей возникаетъ искусство и изслѣдоватъ его истинное значеніе. Вотъ главныйше изъ выводовъ, къ которымъ привело это изслѣдованіе:

1) Опредѣленіе прекраснаго: «прекрасное есть полное проявленіе общей идеи въ индивидуальномъ явленіи» не выдерживаетъ критики, оно слишкомъ широко, будучи опредѣленіемъ формального стремленія всякой человѣческой дѣятельности.

2) Истинное опредѣленіе прекраснаго таково: «прекрасное есть жизнь»; прекраснымъ существомъ кажется человѣку то существо, въ которомъ онъ видитъ жизнь, какъ онъ ее понимаетъ; прекрасный предметъ, тотъ предметъ, который напоминаетъ ему о жизни.

3) Это объективное прекрасное, или прекрасное по своей сущности, должно отличать отъ совершенства формы, которое состоять въ единствѣ идеи и формы, или въ томъ, что предметъ вполнѣ удовлетворяетъ своему назначению.

4) Возвышенное дѣйствуетъ на человѣка вовсе не тѣмъ, что пробуждаетъ идею абсолютнаго; оно почти никогда не пробуждается ея.

5) Возвышеннымъ кажется человѣку то, что гораздо больше предметовъ или гораздо сильнѣе явлений, съ которыми сравнивается человѣкомъ.

6) Трагическое не имѣть существенной связи съ идею судьбы или необходимости. Въ дѣйствительной жизни трагическое большою частью случайно, не вытекаетъ изъ сущности предшествующихъ моментовъ. Форма необходимости, въ которую облекается оно искусствомъ, слѣдствіе обыкновенного принципа произведеній искусства: «развязка должна вытекать изъ завязки», или неумѣстное подчиненіе поэта понятіямъ о судьбѣ.

7) Трагическое по понятіямъ нового европейскаго образованія есть «ужасное въ жизни человѣка».

8) Возвышенное (и моментъ его, трагическое) не есть видоизмененіе прекраснаго; идеи возвышенного и прекраснаго совершенно различны между собою; между ними нѣтъ ни внутренней связи, ни внутренней противоположности.

9) Дѣйствительность нетолько живѣе, но и совершеннѣе фантазіи. Образы фантазіи только блѣдная и почти всегда неудачная передѣлка дѣйствительности.

10) Прекрасное въ объективной дѣйствительности вполнѣ прекрасно.

11) Прекрасное въ объективной дѣйствительности совершенно удовлетворяетъ человѣка.

12) Искусство рождается вовсе не отъ потребности человѣка восполнить недостатки прекраснаго въ дѣйствительности.

13) Созданія искусства ниже прекраснаго въ дѣйствительности нетолько потому, что впечатлѣніе, производимое дѣйствительностью, живѣе впечатлѣнія, производимаго созданіями искусства: созданія искусства ниже прекраснаго (точно такъ же, какъ ниже возвышенного, трагического, комического) въ дѣйствительности и съ эстетической точки зреінія.

14) Область искусства не ограничивается областью прекраснаго въ эстетическомъ смыслѣ слова, прекраснаго по живой сущности своей, а нетолько по совершенству формы: искусство воспроизводить все, что есть интереснаго для человѣка въ жизни.

15) Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляетъ характеристической черты искусства въ эстетическомъ смыслѣ слова (изящныхъ искусствъ); прекрасное какъ единство идеи и об-

раза, или какъ полное осуществлениe идеи, есть цѣль стремленія искусства въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова или «умѣнья», цѣль всякой практической дѣятельности человѣка.

16) Потребность, рождающая искусство въ эстетическомъ смыслѣ слова (изящныя искусства) есть та же самая, которая очень ясно выражается въ портретной живописи. Портретъ пишется не потому, чтобы черты живаго человѣка не удовлетворяли насть; а для того, чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человѣкѣ, когда его нѣтъ передъ нашими глазами, и дать о немъ нѣкоторое понятіе тѣмъ людямъ, которые не имѣли случая его видѣть. Искусство только напоминаетъ намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насть въ жизни, и старается до нѣкоторой степени познакомить насть съ тѣми интересными сторонами жизни, которыхъ не имѣли мы случая испытать или наблюдать въ дѣйствительности.

17) Воспроизведеніе жизни—общій характеристическій признакъ искусства, составляющій сущность его; часто произведенія искусства имѣютъ и другое значеніе—объясненіе жизни; часто имѣютъ они и значеніе приговора о явленіяхъ жизни.